



Главный редактор –
И.Ю. ГОЛУБНИЧИЙ

Шеф-редактор –
С.Г. ЗАМЛЕЛОВА

Зав. редакцией –
Г.В. МАМОНТОВА

Ответственный секретарь –
В.И. РУСАКОВ
pechat-vr@yandex.ru

Художник-верстальщик –
Р.А. ВОДЕНИНА

Редактор-корректор –
Н.Б. АЛЕКСЕЕВ

Редакция:

141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Крупской,
д. 16, кв. 111

Рукописи и отзывы
принимаются по e-mail:
pechat-vr@yandex.ru

Электронная версия:
www.velykoross.ru

В номере:

Слово главного редактора 3



ЮБИЛЕЙ

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА
«Любить человечество...»
225 лет А.С. Пушкину 4
Михаил ОРДЫНСКИЙ-ДАВИДОВ
Сибирская история Юлии Друниной63



ПОЭЗИЯ

Виктор КАШКИН
Мы победим! 9
Юрий ЩЕРБАКОВ
Русской жизни суть28
Евгений ЮШИН
Россия начинается со Слова...47
Инесса ИЛЬИНА
В тот край...60
Валерий БОКАРЁВ
Блуждающий атом84
Пётр ГУЛДЕДАВА
На высоких миров параллелях...139
Элла КУЗНЕЦОВА
Пушкин в вечности живёт147
Сергей ГАЗИН
Гений Пушкина – бессмертен!149
Ирина ПИЧУГИНА
Весна в приграничье156
Василий ЛОВЧИКОВ
Чтобы слышно для всех прозвучать...170
Елена АНТИПЫЧЕВА
Парить ли птицей в синеве...180
Марина ВОЛКОВА
Мы русского воинства ждём воскресения... 189

Некоммерческое издание
Литературно-исторический
журнал **ВЕЛИКОРОССЪ**
№2(52) 2024
Выходит четыре раза в год
Распространяется бесплатно

16+

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
06.07.10.

Свидетельство о регистрации:
ПИ №ФС77-40753.

Учредитель и издатель:
С.Г. Макеева

141301, Московская область,
г. Сергиев Посад, а/я 16.

Подписано в печать 25.07.24.
Формат 70x108/16.
Усл. печ. л. 16,8.
Тираж 1000 экз.
Заказ К-1859.

Отпечатано
в цифровой типографии
«Буки Веди» на оборудовании
KonicaMinolta
ООО «Ваш полиграфический
партнер», 127238, г. Москва,
Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6.
Тел.: (495) 926-63-96,
www.bukivedi.com,
info@bukivedi.com

Мнение редакции необязательно совпадает с мнением автора. Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты. Редакция в переписку не вступает. Рукописи не рецензируются. Принятые рукописи могут быть отредактированы. Любое воспроизведение материалов или их фрагментов на любом языке возможно только с письменного разрешения правообладателя.

© Литературно-исторический журнал «Великороссъ», 2024
© Авторы, 2024

ПРОЗА

<i>Елена САЗАНОВИЧ</i> Кви-про-кво?..	12
<i>Екатерина ГЛУШИК</i> Невезучая	35
<i>Сергей ЮДИН</i> Готическая повесть	92
<i>Евгения ПОЛЯКОВА</i> Сретение	142
<i>Юлия АЛЕКСАНДРОВА</i> Один шаг	153
<i>Юрий ПОКЛАД</i> Личная неосторожность	164
<i>Валерий РУМЯНЦЕВ</i> Голос прошедших лет	173
<i>Алексей ФУНТ</i> Река детства	185

КРИТИКА

<i>Александр МЕДВЕДЕВ</i> Знай, поэзия везде...	57
--	----



Слово главного редактора

**Уважаемый читатель,
дорогой соотечественник!**

Текущий год для русской литературы проходит под знаком 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – нашего великого поэта, прозаика, драматурга, литературного критика, автора значительных исторических исследований и интереснейшего эпистолярного наследия. Эта знаменательная дата является достойным поводом ещё раз задуматься о значении, которое имеет Пушкин для России. Поэт Аполлон Григорьев в своё время написал промышлительные слова, прочно вошедшие в народное сознание: «Пушкин – наше всё», и эта формулировка, восторженная и непосредственная, и по сей день заключает в себе глубокую правду. Пушкин – это и наш великий русский язык, это и русское национальное самосознание, и собственно русская душа в её ярком выражении. Пушкин – это универсальность и всеобъемлющая полнота русской народной традиции, это чистосердечная открытость навстречу всему миру, это беспредельная любовь к жизни в её противоречивой полноте. Пушкин – это беззаветная преданность Отечеству, верность его духовности и культуре, любовь к русскому человеку во всём его социальном многообразии. Говорить о Пушкине можно долго, Аполлон Григорьев уместил это в три слова: «Пушкин – наше всё».

После долгого периода онтологической амбивалентности, привнесённой в нашу жизнь чуждыми и враждебными силами, Россия сегодня возвращается к своим основам. И на этом пути неизбежно возвращение нашего великого национального гения в центр жизни и культуры. Сбросить наваждение либеральных «ценностей» и ложных кумиров, вернуться в классическую систему координат – вот одна из наших важнейших очередных задач. Вернуться к Пушкину...



Иван ГОЛУБНИЧИЙ

Кандидат филологических наук
Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Заслуженный работник культуры Чеченской Республики
Заслуженный работник культуры Республики Дагестан
Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия



ЮБИЛЕЙ

225 лет А.С. Пушкину

«Любить человечество...»

*Я одарю тебя молитвами души<...>
Молитвами любви, смирения и мира¹
А.С. Пушкин*

Поэтический гений Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) был явлен миру как истинное чудо. «Наш поэт представляет собою нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигде и ни у кого», «ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось»², – справедливо утверждал христианский писатель-пророк Ф.М. Достоевский.

Сам Пушкин воспринимал ниспосланный ему талант не только как дар, но и как задание свыше – нести человечеству проповедь Божественной истины:

*И Бога глас ко мне возвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и вземли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей». (2, 149–150)*

Стихи словно объаты Божественным пламенем горения духовного. Сердце поэта-пророка – это «*уголь, пылающий огнём*», в согласии с апостольским призывом: «*Духом пламенейте; Господу служите*» (Рим. 12:11). Неслучайно «**Пророк**» явился духовным ядром пушкинского творчества как служения пророческого, вместившего «в себе идею всечеловеческого единения, братской любви» (14, 419).

«*Велик и свят был жребий твой!..*» – восклицал о Пушкине Ф.И. Тютчев. Он же выразил задушевную мысль, излившуюся из самого сердца России:

¹ Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. – М.: ГИХЛ, 1959–1962. – Т. 3. – С. 268. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

² Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1880 // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – Л.: Наука, 1988–1996. – Т. 14. – С. 436, 438. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА



*Алла Новикова-Строганова – доктор филологических наук, профессор, историк литературы.
Живёт в Орле.*



АЛЛА НОВИКОВА-СТРОГАНОВА



*Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..*

Последующие поколения русских писателей и читателей, «*благоговевя богомольно перед святыней красоты*» (если говорить пушкинскими же стихами), в надежде вдохновения и творческого озарения припадали к родникам литературного наследия поэта. Неразделимый с Родиной проникновенный лирик С.А. Есенин писал, что Пушкин «*русской стал судьбой*». Поразительный есенинский образ соединил величайшего поэта России с главным христианским Таинством:

*А я стою, как пред Причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.*



*Портрет А.С. Пушкина
Художник: В.А. Тропинин (1776–1857)*

В торжественном венке, сплетённом «*дивному гению*», сверкает множество драгоценных жемчужин – художественно-поэтических образов, восторженных слов признательности, изумления, восхищения, благодарности. И в то же время – скорби о ранней трагической гибели великого Поэта России, разделившего участь других убиенных русских поэтов-пророков. При этом в каждой любящей Пушкина душе утешительным упованием отзываются строки его заповеди о жизни вечной:

*Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит... (2, 460)*

Как послушание Богу сформулировал поэт программу своего творчества: «*Веленью Божию, о муза, будь послушна...*» (2, 460) Покорный «*веленью Божию*», создавал Пушкин нетленные типы и образы своих чудесных сказок, поэм, повестей, «*маленьких трагедий*», драмы «Борис Годунов», романа в стихах «Евгений Онегин», всей своей многогранной, сверкающей алмазной россыпью лирики: пейзажной, любовной, элегической, анакреонтической, патриотической, вольнолюбивой, философской, религиозно-мистической, молитвенной... И «*тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею*», «*свидетельство того мощного духа народной жизни, который может выделять из себя образы такой неоспоримой правды*» (14, 434–435).

Ниспосланная величайшему русскому поэту «*та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения – способность всемирной отзывчивости*», способность «*любить человечество и носить в себе всеединящую душу*» (14, 418–420) сотворила это дивное чудо пушкинского творчества. Во всякой человеческой душе, прикоснувшейся к нему, находит оно свой благодатный отклик. Вот почему

каждый с полным основанием может сказать: «Мой Пушкин». Вчитываясь в него, важно сердцем найти самое для себя сокровенное, что выбирает душа.

Мой Пушкин – это прежде всего великий «духовный труженик», томимый «духовной жаждою», стремящийся «сердцем взлетать во области заочны»:

*Дабы скорей узреть – оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата. (2, 442)*

Это пламенеющий духом, рождённый «для вдохновенья, для звуков сладких и молитв» поэт-молитвенник:

*Молитесь – да взыдет к Небесам
Усердная молитва православных. (4, 210)*

«Пробудясь, Господню волю Сердцем он уразумел», и это дало возможность создать настоящие духовные сокровища русской литературы.

Таковы «Отцы пустынники и жены непорочны...» – не просто поэтическое переложение великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина, но подлинное молитвотворчество. Всем сердцем обращаясь ко Господу, с покаянным смирением испрашивает поэт благодатных душеспасительных даров:

*Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи. (2, 456)*

Как учил преподобный Максим Исповедник, «у человека два крыла, чтобы взлетать к Богу: свобода и благодать». Пушкин прославлял истинную свободу в Боге как одну из главных ценностей бытия. Он мечтал о ней, «как узник из тюрьмы замысливший побег» (2, 441). Невольником Пушкин ощущал себя не только в ссылках, куда власти изгоняли его за «свободный, смелый дар». Чувство подневольного, рабского положения всегда угнетало поэта:

*Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег... (2, 387)*

Свободе посвящён маленький шедевр пушкинской лирики «Птичка» – крохотное и трепетное, словно певчая птичка, стихотворение, созданное на «чужбине», во время южной ссылки:

*В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать! (2, 7)*

Это поистине универсальное творение, которое воспринимается и в самом малом возрасте, и в юности, и в зрелости, и в глубокой старости. Стихи

написаны в связи с русским народным обычаем на Благовещение и Пасху выпускать из клеток перезимовавших в домах певчих птиц: «Знаете ли вы трогательный обычай русского мужика в Светлое Воскресение выпускать на волю птичку? вот вам стихи на это» 9, 66), – писал Н.И. Гнедичу Пушкин. Благоую весть, пасхальную радость воплощает отпущенная в небеса поющая вольная птица. Слышится в стихах Пушкина великая вера, и надежда, и любовь. Но любовь, по слову апостола, «из них больше» (1Кор.13:13). Согласно толкованию преподобного Максима Исповедника, «Вера и надежда имеют предел: любовь же, соединяясь с пребесконечным и всегда возрастающей, пребывает в бесконечные веки».

Пушкину в его прозрениях и предчувствиях, несомненно, были приоткрыты духовные тайны «жизни будущего века», Царствия Небесного. Поэт прямо говорил о действии Божьего Промысла в своей судьбе:

*Но здесь меня таинственным щитом
Святое Провиденье осенило,
Поэзия как Ангел утешитель
Спасла меня, и я воскрес душой. (2, 746)*

За два года до гибели у Пушкина сложились удивительные, таинственные стихи:

*Чудный сон мне Бог послал –
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.*

*Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь Царствия Небес.
Скоро странствию земному
Твоему придёт конец.
Уж готовит ангел смерти
Для тебя святой венец...» (2, 634)*

Загадочное видение из иного мира отзывается в замирающей душе отрадой, благой вестью: «сон отрадный, благовецный». Но лирический герой, сознавая земность падшей человеческой природы, искажённой первородным грехом, не может в то же время не испытать смущённого замешательства, разноречивых чувств:

*Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец! (2, 635)*

Всё в Божьей власти и Божьей воле. Отходивший ко Господу Александр Сергеевич Пушкин, по свидетельству В.И. Даля, внятно произнёс: «Ну,

подымай же меня, пойдём, да выше, выше, ну, пойдём»¹. Душа его начала восхождение. Поэт удостоился святого венца и Небесного Царствия по беспредельному милосердию Божию. Но нет на земном языке таких слов, чтобы выразить то, что непостижимо человеческим разумом. Ибо, как благовествовал апостол Павел, «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим» (1Кор. 2, 9–10). Человеку остаётся только уповать на волю Божию – святую, благую, совершенную.

«Да будет воля Твоя», – это прошение ежедневно повторяют христиане в молитве Господней «Отче наш...», испрашивая того, что душеполезно, спасительно, богоугодно, неподвластно человеческому уму. Отказом от самоволия и покорным приятием воли Божией завершает Пушкин своё стихотворение – в полном созвучии с молитвой Господней:

*Но Твоя да будет воля,
Не моя (2, 635)*

Поэт осознал и прочувствовал это «своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем» (14, 416). И он же, по мысли Достоевского, «дал и великую надежду, <...> что русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть» (14, 417). Пушкинское творчество, как и вся русская классическая литература, подобно православному Символу веры, проникнута христианским пасхальным упованием на воскресение «мёртвых душ»: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века».

¹ Записка доктора В.И. Даля // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. – Пг., 1916. – Вып. 25–27. – С. 68.



ПОЭЗИЯ

Виктор КАШКИН

Виктор Михайлович Кашкин – член МГО СП России. Известен по публикациям в газетах, журналах, коллективных сборниках. Автор поэтических книг «Россия дальше Енисея», «Я берега свои искал» и «Всего дороже».

Живёт в Москве.



Мы победим!

Не спится.
Жёсткая постель
Велит, калейдоскопя день,
С бессонницей вести дуэль
Там, где настольной лампы тень
Легла границей барьера
На плаху крышки секретера,
Где в ремешках шершавых строчек,
Заклёпанных посредством точек,
Отточенным карандашом
Казню себя
Пусть не навеки,
Зато утихомирив веки.

Чего тебе недостаёт?
Лови себя на слове.
Размер фуражечки не тот?
Досадно, но не боле.

Недостаёт тебе рублей?
У всех одна картина,
И о деньгах не сожалей,
Сбежав из магазина.

Недостаёт тебе врага?
Такого не бывает.
Он маскируется пока
И компромат сливает.

Неправды много,
А я один.
Со мной лишь слоган:
Мы победим.

С победой будем –
Сомнений нет,
Но мирных буден
Теряем след.

Трудна дорога,
Где нет пути.
Когда без Бога,
Куда идти?

Плутаю много,
Аж до седин...
Спасает слоган:
Мы победим!

Когда не до жажды
Вранья на вранье,
Стаканчиком правды
Напиться бы мне.

Да что там стаканчик.
Не заслужил,
Как глупенький мальчик,
Глоточка без лжи.

Всё чаще, всё громче
Вранье на вранье.
Мы, с правдой покончив,
Довольны вполне.

Решаю вместо сна задачу,
Вопросом задаюсь и днём,
Ужели ничего не значу
Я в мироздании Твоём?

Может, взаправду я правды не нюхал.
Сводками с фронта покуда хвалился,
Акт терроризма, как оплеуха,
Факелом нашей безопасности взвился.

Полям сражения снова столица.
Пятница, март, високосный, конечно.
Жертвы же бойни – гражданские лица –
Фактом безопасности нашей навечно.

Грабли всё те же нас дразнят. Доколе?
Часто ли помним, что с нами война?
Фактом безопасности, нашей тем боле,
Не повторится ли эта весна?

Прости, Христос. Просящему не дал.
Десятки не было, а рубль дать постеснялся:
У ног просившего такой же рубль валялся.
Его он видел, но не поднимал.

Прости меня, просящему не дал,
Не посетил болезненную тещу,
Когда ж нашёл кладбищенскую рощу,
Могилу сродницы не угадал...

Прости, Христос.





Кви-про-кво?..

(рассказ)

Я неожиданно поймал себя на мысли, что живу так, словно всё в моей жизни временно.

Я временно работаю блогером. Вот-вот я вернусь к журналистике. Настоящей. С её очерками и фельетонами. И постоянным ощущением, что непременно сегодня вечером, ну хорошо – завтра утром, сяду за роман.

Я временно работаю за компьютером. Вот-вот я застучу по клавишам своей портативной пишущей машинки Москва. И снова, и снова напечатанные листы романа будут лететь мимо мусорной корзины. Как летуны-неудачники. И непременно в который раз остынет нетронутый кофе в чашке. А я снова почувствую себя Хемингуэем. Не меньше.

Я временно потерял родителей. Вот-вот слышится дребезжание ключа в замочной скважине. Распахнётся дверь нашей квартиры. И они появятся на пороге. Как всегда – шумные, весёлые, перебивающие друг друга. Из театра, наверное. Или с очередной кинопремьеры. А, может, просто с работы.

Я временно живу в блочной цветной громадине, купленной в ипотеку. И зимой мёрзну. Вот-вот я непременно вернусь в родительскую хрущёвку. И, наверное, тоже буду мёрзнуть зимой. Но всё же не так.

Я временно хожу в сетевые магазины. Вот-вот загляну в булочную и Юбилейный. Стоит только завернуть за угол. Ах да, и не забыть бы «Рыболова-спортсмена» по пути, чтобы купить отцу крючки для рыбалки.

Я временно отвечаю на ленивую мелодию мобильного. Мне даже не нужно вставать с дивана. Отвечаю тем, кому вынужден отвечать. Или кому отвечать не хочу. Но отвечать надо, потому что они всё про меня знают. И непременно нужны объяснения, если я не возьму трубку. Но и это временно. Вот-вот меня оглушат гудки домашнего телефонного аппарата. (Самого надёжного в



Елена Ивановна Сазанович – российская писательница, драматург и сценарист, главный редактор международного аналитического журнала «Геополитика», член Союза писателей России, член Редакционного совета журнала «Юность» (автор рубрики «100 книг, которые потрясли мир»), член Высшего творческого совета Московской городской организации Союза писателей России, политический аналитик, выступающий в российских и зарубежных СМИ по ряду геополитических вопросов. Родилась в белорусском городе Гродно. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета (Минск) и сценарный факультет ВГИКа им. С.А. Герасимова (Москва).

Живет и работает в Москве.



мире. самого приветливого. И работоспособного. С дисковым набором.) Короткие и весёлые. Не иначе межгород. И пока я бегу к телефону, пятнадцать вопросов мелькают в моей голове: Ленинград? Минск? Ташкент? Киев? Алма-Ата? Рига? Я запросто могу не отвечать на звонок, никто и не узнает, что я специально не взял трубку. Но я очень, очень хочу ответить моим друзьям из всех республик. Более того – успеть добежать до телефона...

Я временно смотрю передачи по компьютеру. Там идёт война, и взрываются бомбы. Там погибают мои соотечественники. Там из-за угла подмигивает фашизм, скалясь имплантной голливудской улыбкой... Бред какой-то. Такого просто не может быть. Это всё временно. Я вот-вот включу свой безоблачный «Горизонт» – и услышу сводки с полей по выполнению и невыполнению плана. И интервью с трактористом передовой бригады. Увижу торжественные колонны на демонстрации, утопающие в цветах и лозунгах. И репортажи из дружественных соцстран Европы. Так предсказуемо. И так скучно. И так хорошо.

Мне временно... Столько лет, сколько есть. Завтра непременно мне снова будет двадцать пять. Когда всё ещё впереди.

Я временно живу в стране социальной несправедливости. Завтра непременно я вернусь в СССР.

И, конечно, я временно был женат пару раз и временно пару раз развёлся. Потому что завтра я непременно встречу свою единственную любовь. И останусь с ней навсегда. У неё будут непременно каштановые длинные волосы. Впрочем, может, лучше стрижка «Задор» или «Паж»? И обязательные веснушки. Из детства. (Ну, я ещё понимаю, что ликвидировали пишущие машинки и стационарные телефоны, но куда ликвидировали веснушки?)

Моя любовь будет непременно любить Блока. Или Лермонтова. И обождать Глинку и Шопена. А, возможно, даже уметь играть на фоно... Уже завтра, ну, может быть, послезавтра я её встречу. Ну, хорошо, я потерплю до послепослезавтра. Раздастся звонок в дверь. В белом плаще и шёлковой косынке она появится на моём пороге. Как ни в чём не бывало. И скажет. Первое, что она скажет... Как хорошо, что всё в этой жизни временно. Как и сама жизнь.

Ты появилась в моей жизни 29 февраля. Самое смешное – я начисто забыл, что нынешний год – високосный. Что судьба раз в четыре года нам делает щедрый подарок – дарит целый лишний день. За просто так. За красивые глазки... На целый день больше жизни! При этом не прибавляя возраст! Неужели мы заслужили? Неужели и впрямь у нас такие красивые глазки? Что-то я сомневаюсь. Я знаю единственные в совершенстве своей красоты глазки – анютины. Может быть, это всё ради них? Один лишний день жизни... И именно в этот несуществующий день кого-то поджидает рождение. А кого-то смерть.

Мне повезло. Меня поджидала любовь. Везунчик. Меня поджидала любовь, которая обречена на вечность. Потому что в природе её просто не существует. Как и нет лишнего дня календаря. Ну разве раз в четыре года. А ещё говорят, что високосный год несчастливый! Как всегда, лгут! Выдумки для древних старушек и суеверных догматиков. Я не был ни тем, ни другим. Я стал неожиданно просто везунчиком.

Вот, если бы я не забыл, что живу в високосном году. Пожалуй, мы бы так и не встретились. Если бы я не перепутал последний день зимы

високосного года с первым днём весны не високосного... Фу, чёрт ногу сломит... Мы бы так и не встретились. В общем, всё проще. Мы встретились.

В общем, я всё перепутал. Я смело перешагнул в первое марта, минуя один лишний день. Я отчаянно перешагнул границу зимы и очутился в весне. Ни много ни мало – на встрече с Шопеном. Точнее, я бежал на встречу с Шопеном. Точнее, к нему на день рождения – 1 марта. Нет, не подумайте, что я сумасшедший. Я прекрасно осведомлен, когда Шопен покинул наш мир. И вовсе не думал, что великий композитор встретит меня на пороге Дома музыки с распростёртыми объятиями и предложит выпить за именинника. Вовсе я так не думал. Да, меня пригласили на день рождения Шопена (или я купил эту встречу, неважно). Но это правда. На встречу с музыкой. Потому что это был Дом музыки – всё логично. И потому что было 1 марта – день рождения композитора. Куда уж логичнее. И всё же я так отчаянно бежал на день рождения, словно сам Шопен собирался играть для меня. И я боялся опоздать. И обидеть его невниманием.

На пороге музыки, точнее Дома музыки, никто меня не ждал. Чуда не произошло. Никто для меня играть не собирался. И не потому, что Шопен давно умер. И не потому, что я нисколько не был ему интересен, даже воскресни он из небытия. Просто я перепутал даты. Дом музыки был закрыт. Музыке тоже положен выходной. Но Бог и музыка меня не оставили. На пороге закрытой на замок музыки стояла ты. Такая лёгкая, такая нежная, такая беленькая. Беленькие кудряшки кокетливо выглядывали из-под беленького беретика. И белая шубка. Ну да, не каштановый «Задор». Не белый плащ. Не шёлковая косынка. Но ведь почти! Почти! Но, если честно, я лишь мельком взглянул на тебя. И в моей голове почему-то промелькнула картина Матисса «Анютины глазки». У меня вообще мысли не было, что это ты... Ну ты, та самая, в которую я должен влюбиться.

Меня в тот миг гораздо больше интересовала афиша. «Сегодня в День рождения Шопена играют Шопена!» Я невольно стукнул себя по лбу. Вот оно что! Такая же афиша виднелась из окна моего дома. «Сегодня...», а дата еле-еле отпечатана. Брак вышел с датой. То ли бумага некачественная, то ли оборудование подкачало. Не было смысла разбираться в дефектах печати. Факт остался фактом. На день рождения Шопена я не попал. День рождения в будущем. Я же был в прошлом. По вине високосного года. Ох, уж эти Анютины глазки.

– И почему не играют Шопена?

У тебя был низкий голос. Голос выглядел старше твоего возраста. Чистый голос. И я подумал, что ты непременно имеешь отношение к музыке. Музыковед? Музыковеду не обязательно быть с голосом. Он вообще может быть немым. Тогда музыкант? Скрипка? Фортепьяно? Эта мысль мне польстила. Фортепьяно посолиднее. Не сам Шопен, так ты. И ещё неизвестно – что лучше.

– Почему? А потому что сегодня – это завтра.

– Как это? Так просто. Значит завтра – это послезавтра?

– Сложная арифметика, – согласился я. – Хотя проще и не бывает.

Ты приблизила своё утончённое личико к дате, которая еле-еле высвечивалась на афише. Ух! Бракоделы! И ничего не увидела.

– Там должно быть нарисовано 1 марта. А сегодня ещё 29 февраля, – грустно вздохнула ты. Так грустно, что я не понял, ты скучала по зиме или торопила весну. – Поторопились с Шопеном.

– Или Шопен не торопится к нам.

– Интересно, вот интересно... Написано: все билеты проданы. Представляет – все! 365 мест! И только двое из 365-ти промахнулись. Это – мы.

– Или это – судьба? – сорвалось у меня с языка.

И я поперхнулся. И закашлялся. Ты постучала меня по спине. И вдруг впервые на меня посмотрела. За всё время нашего диалога. Интересно, ну вот сколько мог длиться наш диалог. Минут 15, ну, хорошо, 10. Немного. Но и не мало. А ты даже не удостоила меня взглядом. Обидно. Впрочем, кто бы обижался. Я вот тоже за это время на тебя не взглянул. Мы как два барана смотрели не на ворота, а на афишу. Или как в афишу коза, две козы, если уж перефразировать Маяковского. И видели дату концерта, информацию про билеты. Видели самого Шопена. А вот друг друга не видели. И – наконец! После такого вычурного, такого вызывающего, такого громкого заявления: это судьба! Мы наконец посмотрели друг на друга. И друг друга увидели. И вот не солгу! Вот буду тысячи раз подлецом, если солгу. То, что мы увидели, нам очень и очень понравилось.

Наверное, так называется любовь с первого взгляда. И такой она и бывает – любовь с первого взгляда. Впрочем, я понятия не имею, какой бывает любовь – со второго, третьего или десятого взгляда. Это мне только казалось, что я когда-то любил. Всё враньё. Я впервые влюбился вот так. На концерте Шопена, который не состоялся. Который должен состояться завтра. А я влюбился сегодня. И услышал весеннюю рапсодию Шопена. И даже увидел, как он нам помахал рукой. В знак одобрения. А весенняя рапсодия растекалась, разливалась, распылялась по городу, в который вот-вот придёт весна. И в ней расцветут анютины глазки.

Уже потом, по дороге домой, я узнал, что ты родилась 29 февраля. И этот факт меня покорило окончательно. Странно, но людей иногда покорают такие вещи, которые к любви не имеют никакого отношения... Я в юности знал девчонку, которая влюбилась в парня только потому, что его звали Валдис, а не Володька. Она даже за ним пошла на край света. Но не дошла. Потому что края света не существует. А вот край крыши – очень даже. С которой она шагнула вниз. Думая, что любит Валдиса. Если бы она любила Володьку, возможно, такого бы не произошло... У меня был друг, который влюбился в девчонку, мягко говоря, не совсем привлекательную. Но её звали Глэдис. И она говорила с акцентом (правда, не знаю, каким, такому акценту ещё филологи не дали определения). И носила татуировку на правом плече. И зелёные пряди волос. С гордостью. Как королева. И очнулся он, когда увидел не Глэдис, а Галю, которая ловко его обобрала после женитьбы. Королева-то оказалась голой! Татуировка смылась. Как и пряди волос. А акцент как-то в один миг превратился в базарный диалект...

Чудеса! Я беззубо подсмеивался над навязанными неумностями и человеческими слабостями. И напрасно. Окончательно я влюбился, только когда узнал, что ты родилась 29 февраля. И в уме держал уверенность, что ты непременно играешь на фортепиано. Только так ты могла решиться в свой день рождения идти на Шопена. Совершенно одна. Ты была другой. Совершенно другой. В таком трафаретном мире. Ты прилетела с другой планеты. Или с другой звезды. Где пахнет по вечерам анютиными глазками. Даже зимой. Где пьют по утрам берёзовый сок. А днём передают сводки с урожайных полей. Ведь я полюбить мог тебя только такую. Такую, которую встретил на пороге весны. А вдруг ты сама и есть весна? Я бы не удивился.

Я не приглашал тебя прогуляться. Ты просто пошла рядом со мной. Словно это было само собой разумеющееся. Сегодня всё было само собой разумеющееся. И всё необычно. Даже необычно наступила весна. Ровно 1 марта. Точнее, 29 февраля. В это время в нашей стране в любой год, в любой век ещё так холодно. И много снега кругом. Но только не сегодня. Сегодня за день почти всё растаяло. Сегодня после полудня светило такое яркое солнце, что я пожалел, что солнечные очки оставил дома. И совсем не удивился бы, если бы на деревьях взорвались почки. Я даже с опаской огляделся. Не расцвели ли анютины глазки на клумбах. Или, в крайнем случае, мать-и-мачеха. Но это было бы преувеличением.

Мы бродили по городу. По уже весеннему городу. Или ещё по зимнему. Это не столь было важно. Город был наш. И весна была наша. И зима. И Шопен тоже. В каких-то кафе мы пили шампанское. В каких-то яблочный сок. В каких-то кофе. Где-то даже оливковый кофе. С ума сойти! Впервые узнал, что и такое бывает. Мы пили за последний день зимы. И за твой день рождения. Я всё-всё узнал про тебя. Мне так показалось. Что ты умеешь играть на скрипке. Что ты приехала из маленького городка на концерт Шопена. Что ты любишь зиму больше чем лето. Что ты любишь пирожки с яблоками, но не яблоки. Потому что они твёрдые. Что ты боишься пожаров. И умеешь кататься на коньках. Что ещё нужно знать про человека? Ну, конечно, имя. Но я его не спросил. Потому что уже окрестил тебя. Анютины глазки. И знал, и понимал, что такого имени не бывает в природе. Но другого уже не хотел. А ещё не спросил, почему ты одна в свой день рождения? Возможно, это была моя оплошность. Но меня это нисколько не интересовало. Ведь в этот вечер ты была уже не одна. Ты была со мной. Остальное не имело значения.

Я тебя не приглашал к себе домой. И ты ко мне не напрашивалась. Мы просто добрались до моего дома. И не испытали неловкости, когда, взявшись за руки, вошли в мой подъезд. Это было само собой разумеющееся. Ведь мы были знакомы так долго. Целый вечер последней зимы. Ах, да! Самое главное! Про главное всегда забываешь! Ведь мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Мы будем любить друг друга до взгляда последнего. До последних анютиных глазок. До исчезновения их с земли... Так нам тогда казалось.

Первое, что я сделал, бросившись в комнату, это... А вот и не угадали. Я не кинулся убирать разбросанные вещи и книги. Я поставил пластинку Шопена. Самую ценную в моей коллекции. Книги и вещи так и остались валяться на полу и диване. Когда ты торжественно, под звуки «Весенней рапсодии» вошла в мою комнату. Был последний день зимы. Ещё зябко. Но он так был похож на весну. Столько нежности! И запахами музыки переполнился вечер. Музыка тоже пахнет. Если бы не вечер – наверняка бы солнце заполнило всю комнату. Но солнце по графику ушло спать. А вот своё тепло оставило нам.

И я распахнул балкон. И весенние запахи ворвались в комнату. Запах сирени, хотя до сирени ещё было так далеко. Запах черёмухи, хотя до черёмухи было ещё дальше. Запах жасмина, ну это уже вообще про далёкое-далёкое лето. Мне вдруг захотелось подарить тебе букет из сирени, жасмина, черёмухи. Божественный букет лета. Или адский. Для аллергиков. И я со страхом подумал – вдруг у тебя аллергия, а я вдруг с бухты-барахты всучу тебе этот букет. И ты начнешь чихать, кашлять. Анютины глазки разбухнут

от слёз. Мне настолько стало страшно, едва я вообразил, что протягиваю тебе эту адскую смесь запахов. Какой безвкусный букет. Какой невкусный букет. Я даже не подумал, что его просто-напросто не смогу достать. Я мог думать только о том, что у меня нет для тебя подарка. В день рождения, который всего раз в году. А этот подарок тебе не подходит. У меня была початая бутылка вина и открытая банка маринованных помидоров. Ещё с зимы. Да, ещё мороженое в морозилке. Тоже с зимы. Ну вот я имею право говорить – ещё с зимы. Нет-нет, этот товар не просроченный. Ведь завтра весна. Через пару часов весна. Вот-вот – весна...

– Ты извини, – я бесцеремонно перебил Шопена. Но тот не сдавался. И зазвучал ещё громче. – Ты извини. О, а я не знал, что у меня будут гости. Более того, я понятия не имел, что мой единственный гость окажется именинником. Нужно было купить по пути торт...

– Не нужно. Помидоры и мороженое – это самое лучшее. Самое прекрасное сочетание.

– Ты думаешь? Правда, они ещё с зимы. Но у меня нет для тебя даже подарка.

– Нет, – вздохнула ты. Так печально вздохнула, что я по-настоящему осознал, насколько важен подарок на день рождения.

– Ну, хочешь, я подарю тебе букет из сирени, черёмухи и жасмина? – беспечно предложил я. Понятия не имея, где можно такой букет достать.

Я не осознавал себя героем О'Генри. Просто мне подсознательно казалось, что за деньги сегодня можно купить всё. Впрочем, вряд ли я ошибался...

– У меня аллергия, – ты невольно поморщилась.

И стала для меня ещё прекрасней. Мне не нужно было доставать этот адский букет. Потому что я тоже был аллергиком. Вот ещё одно совпадение! И мы стали ещё роднее. Порой, люди чаще рождаются по диагнозу, чем по крови.

– Всё верно, – вслед за тобой печально вздохнул я. – Адский запах. К тому же – безвкусица.

Я на всякий случай перестраховался и усилил негативное отношение к букету. Невольно подумав о возможной цене...

– А хочешь, я подарю тебе плюшевого мишку. Или всё-таки торт? Или, хочешь... Кстати, может, ты предпочитаешь профессиональный подарок?

Я вдруг подумал, что не спросил, кто она по профессии. Практикующий музыкант. Или всё же музыкальный теоретик.

Я не успел открыть рот. Как она тут же ответила, словно прочтала мои мысли. Впрочем, мысли были незамысловатые. Любой дурак бы прочёл.

– Профессиональный? Пожалуй. Я работаю на заводе холодильников...

Меня бросило в жар. От неожиданности. Пожалуй, я горел на глазах. И она это увидела по моей пылающей физиономии. И гордо встряхнула головой.

– Да, я работаю на заводе холодильников. Это самый передовой завод. И там выпускают самые передовые холодильники. Марки «Венера». Аналогов нашей «Венеры» нет в мире.

Ты вдруг взахлёб стала рассказывать о холодильнике «Венера». Умный холодильник. Это был какой-то не холодильник, а кладёшь премудрости. Кроме основного своего назначения он, пожалуй, умел всё. Он пел и рассказывал истории. Он сочинял стихи и музыку. Он решал задачи из высшей математики. И решал сложные психологические проблемы. Он

имитировал голоса птиц и зверей, звуки дождя и ветра. И по желанию, открыв его, можно было любоваться звёздами и планетами. Или солнцем. Он даже умел ставить диагноз, ей-богу! И, клянусь всеми холодильниками на свете, этот даже умел танцевать, ну ладно, чуть пританцовывать... В общем, не холодильник, а настоящий ваш друг. Или ваш раб. Это уже как захотите. Разве что он не подогревал пищу (что странно для холодильника с таким жгучим именем). И ещё не умел плакать. Ну, и не надо. Это мы и сами умеем.

– И вообще, что ты понимаешь в холодильниках! – на последней, чуть визгливой ноте, закончила ты свой монолог, посвящённый холодильнику «Венера».

– Ничего, – к своему стыду признался я. И бросил опасливый взгляд в сторону кухни, где стоял тупой холодильник. И, как назло, хрипло гудел. А вот ведь, негодяй, мог бы и вместо гудения прошуметь дождем. Хотя бы ради приличия.

Ты распахнула балкон настезь. И расстегнула верхние пуговицы пуловера. Глубоко вдохнула прохладный вечерний воздух. И мне показалось, что не мне, а ей стало легче. Ведь у меня и впрямь было жарко в комнате. Слишком щедро топили. А, когда и на улице потеплело... И всё-таки не настолько жарко, чтобы настезь балкон. Даже, если я и пылал. Впрочем, она работала на заводе холодильников. Там, наверное, всегда холодно. А вечерами каталась на катке. Там, наверное, ещё холоднее. Я ничего не смыслил в устройстве холодильников. И никогда не увлекался фигурным катанием. Нас с ней, как оказалось, ничего не связывало. Разве что аллергия. Но если влюбляться в каждого встреченного аллергика... Я словно очнулся. И что она делает тут, в моём доме? Забравшись, как кошка, с ногами на диван и жадно ловя частицы холодного, ещё зимнего воздуха. Распахнутый балкон вовсе не к месту. Нет, чёрт побери! Нас ещё связывает Шопен! Чуть-чуть. И косвенно! И всё-таки связывает! Несмотря на то, что мы на него опоздали. Точнее, на него мы пришли заранее. Потому что перепутали зиму с весной. А ещё нас связывал последний день зимы.

И у меня вновь возникло это виноватое желание ей что-нибудь подарить. Я чувствовал себя обязанным. Я поймал себя на мысли, что с подарком она быстрее уйдёт. А я наконец-то завалюсь с ногами на мой диван. И усну. Под хриплое завывание холодильника. Вот она – настоящая любовь. Вот она – желанная женитьба.

– А подари мне...

Я затаил дыхание. Я готов был ей дарить, что угодно. Даже этот адов букет. Только бы поскорее забраться на диван, на котором она уже возлежала. Единственное, я боялся, что она попросит анютины глазки. А это было уже выше моих сил. И сил ночных супермаркетов.

– А подари мне снег.

– Не понял.

– Что же тут непонятного? Снег – он и есть снег. Подари мне настоящий снег. Ведь это несправедливо, что он растаял раньше времени. Я понимаю, ты в этом не виноват. Но на мой день рождения всегда-всегда был снег. И вдруг такое несчастье... Так рано пришла весна.

Я впервые слышал, чтобы весна стала несчастьем. Впрочем, каждому своё. В первые секунды мне захотелось броситься на улицу с ведром. И по обочинам начерпать, наскрести снега. Он ведь ещё был, но такой жалкий,

такой грязный, такой неприличный. Нет, я не мог обидеть девушку, влюблённую в зиму. И немного в меня.

Но где я смогу раздобыть снег? Настоящий? Не в своём же холодильнике. Хотя, если поскрести по сусекам... Вряд ли... Но не лететь же на Северный полюс. Ладно, чего я так замахнулся. Северный полюс, Сибирь. Его наверняка навалом и у нас, за городом. Но не мог же я среди ночи сорваться с места просто так. Даже не со своего дивана, ведь его заняли. А с обычного стула. И помчаться за город. Я был далёк от персонажа О'Генри и от самого О'Генри. О, Генри, Генри! А, возможно, главная причина в том, что я просто далёк от любви. В отличие от О'Генри моя однодневная любовь мне казалась придуманной и надуманной. Фальшивой и мнимой. Ненастоящей.

Вот оно! Я стукнул себя по лбу. Раз так. По большому счёту. О, Генри, Генри! То и снег я подарю ненастоящий, придуманный и надуманный. Как будто снег. Такой же, как и эта любовь. Как будто любовь. Я по-прежнему был уверен, что сейчас можно купить всё, что угодно. И особенно ненастоящее. И вскоре я рассматривал картинки искусственного снега. О, Генри... О, какие это были варианты! Я и понятия не имел, насколько прекрасен может быть снег. Искриться, струиться, сочиться. Лететь, белеть, серебреть... Как же упростилась наша жизнь. Как запросто можно кушать помидоры зимой. И купаться в снегу летом. Ну и что, что фальшивое. Но не пластмассовое же...

– Вот и всё, в течение часа. В течение часа будет подарок, – я посмотрел на часы.

Через час мы с тобой расстанемся. И я разлягусь на своем диване. Вытяну ноги. И непременно положу руку на спинку. У меня такая привычка. Класть руку на спинку. Чтобы совсем удобно было. Я покосился на свой диван. Он по-прежнему был занят тобой. Я вздохнул. Я по нему очень соскучился.

– Как хорошо.

Ты улыбнулась. И на твоих щеках заиграл румянец. Нет, заиграл – это я для красного словца. Скорее – заплясал, так вернее. То ли от счастья, то ли от жары. И вмиг ты похорошела. Тебе так не хотелось расставаться с зимой. В отличие от меня. В отличие от тысячи, миллионов таких как я. Ведь все нормальные люди любят весну. Я включил телевизор. Какие бодрые, какие успокаивающие новости. Нет войны. И во всю – подготовка к посевной. А завод холодильников перевыполнил план. И появились новые образцы. Плясать они не умеют, но морозят неплохо. А ещё страна готовится к 8 марта. И весь город заполонили мимозы... Как хорошо! И ничего больше не надо! Разве что надо подумать, что подарить маме. Своими руками уже как-то неловко. Да, и не забыть про первую учительницу. Мою звали Александра Сергеевна. И я долго не подозревал, что первого учителя могут звать по-другому. Только как Пушкина. А как же иначе. Иначе это уже не учитель...

В дверь позвонили. Вот и пришёл снег. Как он некстати после мимоз и 8 марта. Я как можно радушнее распахнул дверь. Маленькая-премиленькая разносчица снега и остатков зимы. Лохматая стрижка. Без шапки. Весна. Уже можно без шапки. И даже тёмные очки. Зачем, ведь уже ночь. И на улице темнотище. И в подъезде сумрачно. А может быть, просто у неё большие глаза. Но мне нет дела до её глаз. Это не анютины глазки. И я от души поблагодарил девушку. И ещё раз внимательно посмотрел ей в лицо.

Какое неожиданно знакомое лицо! Где я мог его видеть! Ну же, где! Или даже знать? Где! Черт побери! И ощущение, что даже, возможно, любить. Когда-то. Или это очередные мои сочинения.

– А вам не холодно без шапки? – я сам не ожидал своего вопроса.

Она протянула мне огромный мешок со снегом.

– Нет, мне жарко. Ведь весна, – сказала она взрослым холодным голосом, который не очень-то соответствовал её подростковой внешности.

Не знаю почему, но мне так не хотелось отпускать девушку. Я пытался отыскать тысячи предлогов, чтобы она осталась. Но не находил даже одного. И попытки мои разбивались о мешок снега. В который я не верил. Невзирая на то, что до весны ещё оставался целый час.

– Может, зайдёте, выпьете с нами? Точнее, со мной, – я запнулся. – Ещё точнее, с моей подружкой. У неё сегодня день рождения.

– Нет, мне пора. На работе нельзя. Да и жарко у вас, – она выдохнула на меня морозом, и пошёл пар. – Если выпью. То вообще... К тому же я за рулём. Велосипеда, правда. Но всё равно... За рулём...

Она нажала на кнопку лифта, который уже успел улизнуть вниз.

– Оставайтесь!

Я уже просто умолял её. Не стесняясь. И не отдавая отчёта, зачем. Разве что осталось встать на колени. Но я не встал. У меня давно болели колени. И я вновь не без обиды вспомнил о своём диване.

– Вы словно... словно...

Я пытался подобрать метафоры, эпитеты и сравнения. Но от волнения ничего не мог придумать.

– Вы словно свалились с... с... Венеры, – ляпнул я, начисто забыв, что принято другое выражение: «свалиться с луны». Хотя где принято и кем?

– Я не могу свалиться с Венеры, потому что сама Венера. Родителям что-то стрельнуло в голову, и они меня так назвали. К моему стыду.

– Венера, это же просто прекрасно! – я готов был в неё уже влюбиться. Только из-за имени. (Начисто забыв свои прошлые ёрничанья по поводу влюблённости в имена). – Оставайтесь, я вас молю, прошу, умоляю!

Не обернувшись, она покачала головой: «Нет». И исчезла в кабине лифта. И мне показалось – навсегда...

Я ещё несколько секунд тупо смотрел на удаляющийся лифт. Всё ниже и ниже. Всё дальше и дальше от меня. И думал, разве возможно не влюбиться в девушку по имени Венера? И разве разносчицы бывают с таким именем?.. Но в моём доме, на моём диване меня ждала другая девушка. И я ей протянул мешок со снегом.

– С днём рождения! – я посмотрел на часы. – Полчаса до весны. Целых полчаса ещё можно тебя поздравлять.

Я развязал мешок. И высыпал снег на пол. Он искрился, веселился, сверкал, играл серебром в освещении люстры. Он был лёгок, воздушен. Он был прекрасен. Я осыпал её снегом, как бриллиантами. И успел подумать, что О'Генри проиграл. О, Генри! Глупое время! Глупое сочинительство! О, глупая любовь! О, Генри! И ещё я почему-то подумал, какой глупый сегодня день. И самое неглупое это было выстрелить бутылкой шампанского. Оставались минуты, чтобы успеть выпить за день рождения. Чтобы поздравить. Но в коридоре меня остановил телефон... Я поднял трубку.

Ледяной голос сообщил, что разносчица по имени Венера (фамилию я даже не услышал, потому что не понял, важно ли это) попала в аварию.

В её велосипед, мчавшийся по краю дороги, врезалась машина. И меня вызывают для дачи свидетельских показаний. Мой номер нашли в записной книжке погибшей. Последний записанный номер. И я последний, возможно, кто видел её живой.

Я вспомнил улыбку разносчицы снега. И у меня невольно из глаз потекли слёзы. Какое враньё! Нет, не слёзы. Слёзы были настоящими. Про улыбку враньё. Она ведь так ни разу мне и не улыбнулась. Просто, когда кого-то вспоминаешь, так и срывается с языка – про улыбку. Наверное, потому, что на каждую улыбку найдётся своя слеза. А во всём виновата она. Эта, которая работает на заводе холодильников. Которая вдруг среди ночи захотела снега! Ведь могло ничего не случиться! Ведь если бы я не встретил эту, то та бы никогда не погибла! Когда-нибудь, возможно, и погибла. Но, возможно, не на велосипеде. А попала бы под машину. Или умерла от болезни. Но не сейчас, не с моим номером в записной книжке. Не с моим взглядом, который на ней запечатлелся. Последний. На ней – живой. Фу ты, чертовщина! А при чём тут записная книжка! Да во всём мире не найдётся никого с записной книжкой! Блажь какая-то! Покажите мне такого блаженного, и я пожму ему руку! Похоже, руку уже мне жать некому. Она, та, другая, которая на моём диване разлеглась! С завода холодильников! Она во всём виновата!

И я её уже ненавижу. Вот сейчас же, сию минуту возьму и всё ей выскажу! И про холодильники тоже! Мой накрылся через месяц после покупки! Уже можно все высказать! Уже закончился её дурацкий день рождения! Уже пришла весна! К которой она никакого отношения не имеет. И к тому же ещё ненавидит. Вот, ещё совсем чуть-чуть! Вон, слово застряло на кончике языка. Ну же, давай, взлетай, слово! И пронзи ей самое сердце! Снега она захотела весной! Если бы ещё шампанского! Куда ни шло. Ладно, адский букет я бы пережил тоже. Ну, чихнула бы пару раз, ну, поморщилась. Ну, выпила таблетки от аллергии. В крайнем случае – появилась бы сыпь на теле. Но ведь это не смерть! А она захотела снега среди ночи! Бред собачий! Из-за этого бреда погиб человек!..

Весной нельзя умирать! Нет, весной, может, и можно. Но только не накануне весны! Это нечестно! Только не в високосный год! В день, который бывает раз в четыре года! Как чемпионат мира по футболу. К которому четыре года готовишься! Это вообще бесчестие – умереть в несуществующий день. То ли весна. То ли зима. Так никто это и не доказал. И диссертацию на эту тему не написали. И в Конституции этот день не прописан. Значит его просто-напросто нет! Не существует! Как и смерти!

И всё-таки она умерла! Мои мысли могли ещё корчиться сколько угодно. И кричать сколько угодно. Но я неожиданно погладил их, как соседскую болонку. Пригладил их. Отретушировал. И распахнул двери комнаты. Комната была пуста. Комната искрилась в снегу. Белела и сверкала. И холодела. А на улице наступила весна...

Она ушла. Как? Я почему-то вышел на балкон и посмотрел вниз. На всякий случай. На асфальте тоже проступила весна в виде капель дождя. Как она вышла так незаметно? Впрочем, что тут удивительного, если я боролся в это время с кричащими на всю весну мыслями. Ушла, ну и ушла. Ведь я сам этого хотел. И всё-таки – почему? Даже не забрав подарок. Наверное, обиделась. Снег-то был насквозь лживый. Фальшивый. Она весь снег оставила мне. Всю ложь и всю фальшь. Искусственный, бессмысленный снег.

Такой же искусственный и бессмысленный, как наша случайная встреча. Как наша случайная любовь, которой так и не случилось. Всё – как будто. За эту ночь меня покинули две девушки. И ни одну из них я не любил.

Одна из них родилась 29 февраля. Другая умерла 29 февраля. И то и другое – нелепица и несуразица. Есть ещё какой-то заковыристый синоним, но я не мог его вспомнить. Ведь 29 февраля смерти нет. А рождения?.. Раз в четыре года поминать и праздновать? Бред какой-то. Нет такого числа. Я выпил бокал шампанского и уснул. Мне снилось... Я не помню. Но что-то снилось. Я бы запомнил наверняка. Но Шопену надоело работать заезженной пластинкой. Вместо него как назло попеременно гудел и шипел холодильник. Ну, что хорошего приснится в такой обстановке? Скорее война, чем весна...

Утром я как добропорядочный гражданин отправился в полицию для дачи показаний. Хотя, что я мог показать? Снег? И то не настоящий? Как будто? Полицейские шныряли туда-сюда. И мне они показались тоже – как будто. Временные. Совсем скоро снова вернётся милиция. И дядя Стёпа-милиционер козырнёт: «Я готов служить народу, – Раздаётся Стёпин бас, – Я пойду в огонь и воду! Посылайте хоть сейчас!..» А всё остальное чушь, недоразумение, ошибка, если проще – квипрокво. Вот оно! Слово найдено! Точнее – вспомнено! Ну, конечно! Квипрокво! Я его когда-то тысячу раз повторял, как скороговорку. В детстве. Когда отшлифовывал свою речь с логопедом. И ведь отшлифовал! Квипрокво мне помогло... И сегодня оно почему-то взбудрило. И придало весу собственной персоне. Вот наверняка полицейские понятия не имеют, что такое квипрокво. А если кто случайно и имеет, то наверняка неправильно ставит ударение. А я-то знаю, что ударение ставится на последнем слоге. А они нет... И я ещё больше вырос в собственных глазах. Мне уже не было страшно. Я почти дорос до дяди Стёпы. В собственных глазах. Пусть теперь попробуют обвинить человека, который не просто знает слово квипрокво, но ещё и верно его употребляет!

– Квипрокво! – вырвалось у меня.

Пробегающий мимо меня полицейский, маленький, худенький, в общем, полная противоположность Стёпе, резко притормозил от неожиданности. И чуть не кувыркнулся на месте. Ага! Так я и знал! Подействовало! На меня обратили внимание. И мне даже показалось, что полицейский мне слегка поклонился.

– Вы по какому вопросу? – он снова споткнулся. Но уже о слово.

Он понятия не имел, как меня называть. Товарищ – опасный анахронизм, ещё заподозрят, как политического. Господин – язык не поворачивается. Мы с ним не вышли рожам так называться и так называть. Гражданин – это уже почти приговор. Могут обвинить в предвзятости. В общем, я был в нынешнем веке не называем, как и все мои соотечественники.

– Вы по какому вопросу?

– По вопросу смерти.

Это добило его окончательно. И он с почестью пропустил меня в кабинет. Смерть у нас ещё в почёте.

Выслушав мои рассказы про Шопена, снег и разносчицу по имени Венера, он долго и внимательно меня разглядывал. Потом порылся в бумагах. И тяжело вдохнул. И стал ещё меньше ростом. Словно с каждым вздохом убывали его сантиметры.

– Так я и знал.

Что он так и знал, я так и не узнал. И что разглядел на мне, я так и не увидел.

– Не зря вы тут бормотали что-то... Словечко какое-то странное. С такими словечками с нормальными вопросами не заявляются... Но в общем не важно. За последние сутки у нас никаких дорожно-транспортных происшествий не было. Под машину никто не попадал. А вас с вашими дурацкими словечками никто не вызывал. И снег искусственный никто не разносил. И разносчицы-девушки не дежурили этой ночью. Они вообще по ночам не дежурят. Да и вообще, разносчиц с именем Венера просто не существует. И Шопен будет только сегодня, по графику. А 29 февраля вчера вообще не было. Потому этот год – не високосный.

– Не может быть! – закричал я. – Не может! Это же квипрокво!

От волнения я ударил не на тот слог.

– Может, и так. Но это так. А теперь...

Он развёл руками. И стал выпроваживать меня за дверь.

Уже у порога он дёрнул меня за рукав.

– Послушай, а запиши мне это словечко, а? Никак не могу запомнить. И главное – с ударением, чтобы не перепутал.

– Обязательно. Потом.

– Когда это потом?

– Когда выпадет искусственный снег. Когда будет 29 февраля. Когда холодильник по имени Венера станцует. И когда начальником у вас будет дядя Стёпа милиционер. А сейчас всё просто недоразумение.

Он так и остался стоять с открытым ртом. И мне показалось, я ему отомстил. В том числе за дядю Стёпу...

Вчера было 28 февраля. А сегодня 1 марта. А что между ними? Может быть, это враньё. И 29 февраля просто не существует? То, что этот день случается раз в четыре года – просто выдумки, фантазии, капризы астрономов. Астрономический фантом. Такого дня просто нет. Значит, нет рождения. И нет смерти. И нет тех людей, которые родились и которые умерли 29 февраля. И нет встреч и расставаний. Побед и поражений. Радостей и слёз. 29 февраля... И нет самого 29 февраля... Так и я могу придумать. Хоть 30 февраля, хоть 31. Пожалуйста, на здоровье! Нет, тут что-то не сходится. Квипрокво. Всё-таки удачное слово. Само недоразумение, а не слово...

Я машинально посмотрел на табло с погодой. Там – 3 градуса тепла ощущается как 3 градуса холода. Весна ощущается как зима. Я купил НЕ-молоко и закусил на ходу НЕсыром. Вот всё в нашей жизни теперь так. С частицей НЕ. Как будто. Как будто пьём молоко и как будто едим сыр и мясо. И как будто нам тепло или холодно. Как будто работаем. И как будто отдыхаем. Как будто любим. И как будто страдаем. Как будто пишем картины. И как будто снимаем кино. Как будто живём в мире. И как будто воюем. Всё, что мы делаем, ощущается как жизнь. Но это не жизнь. Это как будто. Разве что рождаемся и умираем пока по-настоящему. А что между рождением и смертью? Как будто живём. В стиле и ритме «ощущается». 3 градуса тепла ощущается как 3 градуса холода. Так плюс или минус?

Может быть, меня тоже нет. И я просто ощущение? Не я? Нет, так можно действительно чокнуться. Неужели тот полицейский, противоположность милиционеру Стёпе, прав? И я не в себе. Но что-то есть в этой жизни реальное. И я нащупал билет. Ну конечно, Шопен! Что может быть

реальнее! Он меня ждёт на свой день рождения! Сколько ему стукнуло. Ради интереса. Нужно узнать. Как-нибудь.

Я легко взбежал по лестнице навстречу музыке и Шопену. И уселся в первом ряду. Хотя в билете было указано на последний. Просто можно было выбирать. Свободных мест предостаточно. Свобода выбора. Музыки и Шопена. Музыка и Шопен мне казались единственными реальностями в этом мире. И к ним, кроме меня, похоже, никто не торопился.

Когда объявили мой любимый вальс №7 «Зима» в исполнении артистов балета, у меня перехватило дыхание. Я даже постучал ботинками по тёмно-зелёному полу. И ощутил почву под ногами. Облегчённо вздохнул. И в предвкушении сонливой радости закрыл глаза. И полилась музыка...

Мама мне вяжет варежки. Её тонкие сухие пальцы легко перебирают спицы. Спицы еле слышно стучат друг о друга. Какие знакомые звуки. Какие родные руки. Я их чувствую. Я их хочу поцеловать. Клубочек срывается с кресла, прыгает на пол и катится. За ним вприпрыжку бежит кошечка Мурра. А клубочек катится, катится. Прыг по ступенькам, скок через порог. Да через сугроб. Да на ледяную горку. И я на санках, на всех парусах. И мамины шерстяные варежки, так приятно покалывающие ладонь, вцепились в верёвки. Снежный вихрь в лицо. Ледяной ветер – в лицо. И лицом – ещё чуть-чуть... в снег. И папины руки подхватывают меня. На лету. И он падает вместе со мной. В сугроб. Где уже барахтается кошечка Мурра вместе с клубочком. И папина шапка-ушанка пролетает мимо. И мама тащит меня за шубку. И падает тоже в сугроб. Я понимаю, что падает она специально. За нами. В знак дружбы. И мы дружно хохочем. Дома сушатся вязаные варежки на батарее. И валенки под батареей. И за батареей сушится кошечка Мурра. Эх, как же хочется представить камин. Но нет, правда, так правда. В детстве была батарея. Которая ощущалась как камин. В общем НЕкамин. А вот пирожки с капустой и яйцом – настоящие. И клетчатый верблюжий плед, в который меня укутали. И телевизор, по которому скучная программа о перевыполнении плана на заводе холодильников. И интервью с трактористом. Время скуки и зевоты! Время, которое было настоящим...

Шопен меня так умиротворил. Что я в полудрёме чуть не завалился соседу на плечо. И вздрогнул. А на сцене шёл снег. Серебристый, блестящий. Он переливался, играл, веселился в разноцветных огнях рампы. Точнее, шёл НЕснег. Шло ощущение снега. И не зима. А ощущение зимы. Танцевали артисты балета. Солистка в костюме снегурочки, в общем, НЕснегурочка, а ощущение снегурочки. Такая хрупкая, такая маленькая. Так изящно извивалась в руках партнёра. Так легко взлетала с его рук. И так же легко падала ему в руки. Вдруг или не вдруг вспорхнула и опустилась на краю сцены. Мы столкнулись с ней взглядом. Это была катастрофа. Я узнал их. Анютины глазки. И разносичицу тоже узнал. Это была она. Точнее, они. Две. В одном лице. День рождения и день смерти. 29 февраля. День, которого не существовало. Который сочинили жестокосердные астрономы. Она безразлично пробежала по мне анютиными глазками. Она меня не узнала, точнее не знала. Или знать не хотела. Ещё бы! Вдруг я понял, что она не ощущение. Она – снегурочка. Самая что ни на есть. И вот-вот она исчезнет, испарится, растает или разобьётся, как осколок льда. И уже навсегда. Потому что сегодня весна.

*Однажды я в лесу слепил снегурочку,
Такую нежную, что хоть веди домой.
Я бы остался с ней, да вот беда – замёрз.
И стало грустно мне, что я не Дед Мороз...*

Это был не Шопен. Это была дворовая песня, первая, которую я выучился играть на гитаре. И Шопен вдруг по сравнению с этой песней мне показался пустым и ненастоящим. Квипрокво.

Я встал посреди концерта. Почему-то с шумом двинулся к выходу. Разве что не шуршал шоколадкой. Просто у меня её не было. Повторяя, как заклинание – квипрокво, квипрокво, квипрокво... Словно шлифовал свою косноязычную жизнь. Словно это было волшебное слово. Словно это слово могло меня уберечь или спасти. От чего-то. От чего – я не знал. На меня шипели. Гудели. Дёргали за одежду. Ещё чуть-чуть – в меня полетели бы камни или кусочки льда. Но я упрямо шептал: квипрокво... И где было произнесено это слово, там наступало затишье... Я выбрался без потерь. На ходу прыгнул в пальто и повязал шарф.

– А ведь неправда, что сегодня у Шопена день рождения! – услышал я молодой голос.

В мою спину словно выстрелили. Я так устал от НЕправды, от ощущения правды и от квипрокво. Я резко обернулся.

Старенькая гардеробщица вязала варежки. И я почему-то некстати подумал: интересно, на сколько её голос младше её самой?

– Сегодня разве не 1 марта?

Я уже был готов к любым неожиданностям.

– Как раз первое, самое, что ни на есть – вздохнула гардеробщица, словно жалела об этом, ведь варежки она ещё не довязала, а уже весна.

– Тогда почему неправда?

– Так он же родился не первого марта, а 29. Уж я-то всё про Шопена знаю! Столько в Доме музыки прослужила! Я про всех всё и знаю!

– Но неужели все на свете музыковеды и биографы ошибались?

– Нет, не ошибались. Это он ошибся. Умышленно. А скорее – его родня. Ну ты подумай. Хорошенько раскинь головой. А она у тебя есть, я в людях уж точно разбираюсь. Как и в музыке.

– Понятно, – вздохнул я. Всё было так просто. Что мне стало даже неловко за эту простоту. – Кому охота день рождения справлять раз в четыре года. А ребёнку это уж точно не объяснишь.

– Вот я и говорю. Умных людей я сразу вижу. Может, сам Шопен об этом не знал. Дитю неразумному не расскажешь, что напридумывали эти звездочёты.

– А только вот вы и знаете!

Я не сдержал иронии. Но старушка её не заметила.

– Знаю.

– Значит, нужно было встречать день рождения вчера. А вчера не было.

– Не было...

Старушка улыбнулась. И повертела в руках уже готовые варежки. Тёплые, трёхцветные. Они пахли шерстью. Я физически почувствовал, как они приятно покалывают ладонь. Хорошо бы она вязала их мне. Мне так захотелось...

– Внуку?

Она помотала отрицательно головой.

– Просто уж больно хороша пряжа! Смесь шерсти и мохера. И даже 15 процентов альпака! – торжественно произнесла старушка.

Слово «альпака» меня окончательно добило, и я захотел варежки пуще прежнего.

– Да ты посмотри на плавные переходы цветов! Сколько цветов! Потому и называется пряжа Венера. Как на Венере!

Старушка говорила так, словно вчера вернулась с Венеры. И её голос ещё более помолодел от энтузиазма. Движения её морщинистых рук, легко перебирающих спицы, мне что-то напоминали. И это постукивание спиц – тук-тук... Она подняла глаза. И в них вспыхнули анютины глазки. Анютины глазки, что ни на есть! И это был не Матисс...

Не попрощавшись, я выскочил на улицу. Эх, лейся-лейся музыка, музыка! Прощай зимушка-зима! Здравствуй весна-красавица! Тайте все снегурочки, вместе взятые. Сколько бы вас ни было на белом свете. Мне вас ни капельки не жаль!

*Прости, не видел я
Твоих холодных слёз.
Прости, что позабыл,
Что я не Дед Мороз...*

Мне вдруг до головокружения захотелось домой. Я подумал о маме. На улице шёл снег. Было очень холодно. Пусть кто мне скажет, что это только ощущение минуса, а на самом деле плюс, ей-богу, залеплю снежком в физиономию... О, а я как назло забыл перчатки! Я-то думал, что уже весна!

Я сунул руки в карманы. Там лежали вязанные многоцветные варежки. Шерсть, мохер и альпака. Вот вернусь домой и непременно посмотрю, что такое альпака. Стыдно не знать... Я машинально натянул варежки. Они удивительным образом оказались впору. И приятно покалывали ладонь. Мне нужно, нужно бежать назад. Мне нужно, нужно отказаться от такого дорогого подарка. Но я не мог. Настолько он был мне дорог. К тому же было очень холодно. И без них я мог заболеть. И мама мне уже не поможет. Сдерживая слёзы, я торопился домой. Шёл настоящий снег. Он слепил глаза. И я плохо видел дорогу к дому. Только бы не заблудиться. Только бы не заблудиться... 1 марта. В день настоящей весны. Хотя до весны ещё было так далеко... И я подумал, что-то мне нужно ещё успеть сделать, что-то успеть вернуть. Что-то... На улице было минус три, и ощущалось как минус три. Может быть, это единственное было правдой.

Торжественные звуки громкоговорителя заставили меня притормозить на повороте. Какой громкий голос! Солидный, надёжный, поставленный, настоящий. Голос оракула. Как же я хорошо знал этот голос, звучащий на всю улицу, на весь город, на всю страну:

«В течение 1 марта на территории Померании, северо-восточнее и севернее города Нойштеттин, наши войска в результате наступательных боёв овладели населёнными пунктами Флеммингсорт, Флетенштайн, Фалькенхаген, Хелькевизе, Нойдорф, Цехендорф, Бухвальд, Эшенриге... На других участках фронта – бои местного значения и поиски разведчиков...»

Я машинально снял шапку. Мне хотелось её подбросить. Но я не успел. Знакомый, почти родной голос торжественно и печально продолжил:

«1 марта была испытана американская водородная бомба на острове Бикини. Облако рассеянного радиоактивного пепла после испытаний накрыло

почти весь Тихий океан и распространилось над Восточной Азией, Австралией, Северной Америкой, Карибским морем и северной частью Южной Америки. Радиоактивные вещества были выявлены даже в атмосфере над Африкой. И зафиксированы на 122 метеорологических станциях по всему миру. По данным японского министерства здравоохранения, заражению различной степени подверглось более 800 японских рыболовных судов. На них находилось около 20 тысяч человек. Это событие стало основой национального праздника в Стране восходящего солнца – Дня борьбы за мир...»

При слове «праздник» я почему-то вздрогнул. Оказывается, сегодня в Японии праздник.

– Праздник? – громко, на всю снежную улицу переспросил я.

Громкоговоритель мне ответил гораздо громче:

«Мощность этого взрыва была эквивалентна взрыву тысячи бомб, которые были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки. Это было самое мощное испытание из когда-либо произведённых в Соединённых Штатах... Сегодня в Японии национальный праздник! День борьбы за мир. А вообще-то в мире он называется “День Бикини”...»

Если бы я что-то кушал, я бы непременно поперхнулся. Но я не кушал. Единственное, что я мог – это всё же снять шапку и бросить её под ноги, чтобы от негодования затоптать в снегу. Но я не сделал и этого. Родной голос громкоговорителя объяснил, что купальник бикини был назван в честь райского острова Бикини, когда там годами раньше были произведены испытания ядерного оружия. Так что день Бикини понимай, как хочешь. Хочешь – борись за мир. А хочешь – вспоминай лето и бикини. Квипрокво.

Я ещё больше спрятал голову в плечи. Мне стало ещё холоднее. Я натянул шапку на уши, чтобы её не снёс ветер. И пошёл быстрее и быстрее по заснеженной улице. Ещё быстрее, ещё... Мне как никогда хотелось домой. Домой. Бежать. Домой... Но громкоговоритель меня не отпускал. Издевается, наверное? Но ведь этого не может быть. Этот голос не просто родной. Этот голос мой соратник и друг.

«1 марта – очередное достижение в области освоения космоса: советская автоматическая станция “Венера-3” совершила посадку на поверхности Венеры...»

Я остановился. И остановился снег. И остановился ветер. И остановился голос громкоговорителя. Тишина. И мир замолчал.

Венера. Я посмотрел вверх. Я не видел её. Но я знал, что Венера где-то там. Обязательно. Сестра Земли, так её называют. Значит, там можно жить. Названа в честь древнеримской богини любви. Значит, там все любят друг друга. Самая горячая планета. Там день бикини не празднуют. Единственная из всех планет, которая вращается по часовой стрелке. Разве это не самый верный путь – когда по часовой... И, возможно, там меня ждут. И не только меня. Но только там. Дело оставалось за малым. Убежать...





ПОЭЗИЯ

Юрий ЩЕРБАКОВ

Юрий Николаевич Щербаков – поэт, прозаик, публицист, переводчик. Родился в 1956 году. После окончания Астраханского технического института рыбной промышленности работал судовым механиком на Дальнем Востоке и Каспии, журналистом в газетах и на радио. Председатель Астраханского регионального отделения Союза писателей России. Лауреат международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак торна», литературных премий: «Литературной газеты» имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству», имени Александра Невского «России верные сыны», Бунинской, «Традиция», имени Курмангазы Сагырбаева, Славянского литературного Форума «Золотой витязь», «Словес связующая нить», имени А.К.Толстого, «Слово», конкурса переводов имени Э. Капиева «Резьба по камню». Заслуженный деятель искусств Астраханской области, заслуженный работник культуры Республики Калмыкия.

Живёт в Астрахани.



Русской жизни суть

Чем старше, тем больше похож на отца –
Походкой, сутулостью, речью.
Берёт, как известно, не только с лица
Истоки родство человечьё.

Всё чаще нескладные будто слова
Отцовские я вспоминаю
О том, что во всём разберётся Москва,
С любой бедою:
«Там знают...»

Он верил заклатью тому до конца,
Листая судьбины страницы.
Похожи мы. Только вот вере отца
Никак не могу научиться...

Слышишь, плачет вода дождевая:
«Доживаю свой век, доживаю...»

Откликается ласково Волга:
«Я тебе помогу, но недолго!»



Отзывается буйное море:
«Стать волной моей – счастье, не горе!»

Гром ворчит в поднебесье сердито:
«Что ты слушаешь это корыто!»

В небеса ты вернёшься, и снова
Будешь литься на землю готова,

Если этого солнце захочет.
Бесконечны твои дни и ночи!»

...Кто услышит меня, кто ответит,
Если я на туманном рассвете

Прошепчу, как вода дождевая:
«Доживаю свой век, доживаю...»

«Опять героя схоронили...» –
Глава района известил.
Ядрёной салютует пылью
Горячий ветер у могил

Непобеждённому солдату
Необъявлявшейся войны.
Мы все, наверно, виноваты
В том, что герои видят сны,

Как, надрывая в гневе глотки,
Сражаются зло и добро...
А для живых – для нас – есть сводки,
Увы, не «Совинформбюро».

За эти пыльные просторы,
За Волгу, за весь белый свет
Война грохочет, у которой
Есть правда, а названья нет.

Не хватает несвободы.
Без неё – совсем беда.
Где вы, несвободы годы –
Наши лучшие года?

Мы в России, право слово,
В дни сомнений и невзгод
Задарма отдать готовы
Призраки былых свобод.

По ежовым рукавицам
Разгорается тоска
У того, кто ей гордится, –
У Ивана-дурака.

Ненавидящие люто
За терпение его,
Пусть приснится вам Малюта...
О, порядка торжество,

Что зовётся несвободой!
Двери ей открыть сейчас
Не пора ль секретным кодом –
Словом огненным «Донбасс»?

Сон

Приснился мне тревожный сон в столице,
По пояс утопающей в снегу,
Что другу я не в силах дозвониться,
И достучаться тоже не могу.

И вот стою перед закрытой дверью
Квартиры, где когда-то я гостил,
И заползает, как змея, неверье,
Что в прошлое отыщутся пути.

«Надежды нет...» – не сразу мысль простая
Перетекает в нужные слова.
Но друг пропащий дверь мне открывает.
О, лучше бы совсем не открывал!

Не узнаёт. Такого злого взгляда
Давно не получал я на земле.
«Ты кто такой?», а рядом «Чё те надо?»
Написано у друга на челе.

А что мне надо? Просто видеть друга,
Который здесь по-прежнему живёт.
Нет, не живёт – другой хрипит с натугой
Похмельной:
– Убирайся, нищесброд!

В своё провинциальное болото
К лягушкам, комарам и камышам,
К помойке-Волге!..
Значит, помнит что-то
Мой бывший друг, а нынче – просто хам.

В подъездном гулком сумрачном колодце
Мне в спину бьют обидные слова:
– Без вас, провинциалов, обойдётся
Богатая и славная Москва!

Проснулся. Сердце ошалело бьётся,
Как птица в клетке, от бредовых фраз.
Неужто впрямь столица обойдётся
Сейчас без нас, да и потом – без нас?

Без наших крови, пота, веры, силы,
Без нашего бурлацкого труда?
Неужто злая сила победила
Единство наше раз и навсегда?

Засну опять с мечтой о картине,
В которой нашей русской жизни суть:
Там, у Кремля, провинциальный Минин
Указывает князю верный путь.

Пламя костра гонит сумерки робкие
На разомлевший от зноя Чаган.
Нынче приехал к друзьям на раскопки я
И без вина этой радостью пьян.

Завтра мечта непременно исполнится –
Плоть обретёт стародавняя быль,
И раскопает весёлая вольница
Вместе со мною заветный Итиль!

Знаю, откроются вежи хазарские
Здесь археологам прямо с утра,
Чтобы браслеты примерила царские
Та, что со мною сидит у костра!

И ничего, что её косы – русые,
А не хазаринки древней смольё.
Из-под земли завтра чудные бусы я
Точно добуду, найду для неё!

Знаю, открыли давно б городище, но
 Не увидали царевны земной
 В милой студентке! Смотрите, начищено
 В честь её зеркало речки луной!

Злато Чагана червонное...
 – Нравится?
 Как, неужель сомневаешься ты?
 Нужно уйти от костра. Знай, красавица,
 Чудо видней всего из темноты...

Только одно упущенье досадное
 Портит свидания чудный нектар:
 Как же ревнует тебя, ненаглядная,
 К нью-археологу каждый комар!

Что же, оставлю нелепые нежности.
 Ты неприступна, я знаю и так.
 Эх, увидеть бы в небесной безбрежности
 Звёздной удачи грядущего знак!

Время на глупости больше не трачу я,
 В руки лопату пораньше с утра.
 Видно, не с главною в жизни удачею
 Я в этот вечер сидел у костра.

...Знаешь, моя беззаветная спутница,
 Женщина света, судьбы и мечты
 Жизни моей, что порою мне чудится:
 Там, у Чагана, со мной была ты.

Вечной любовью Вселенная создана.
 И на своём утверждаю пути,
 Что отыскали под этими звёздами
 Мы навсегда свой заветный Итиль.

Владел мой дядя в Золотом Затоне
 Рыбацкой лодкой самую простой.
 Смеялся дядя:
 – Ежели утонет,
 То станет точно лодкой золотой!

Смолил бока старинушке с улыбкой:
 – Верну тебе, родная, стать и прыть.
 Поможешь счастья золотую рыбку
 На Золотом Затоне нам добыть!

– Да вот она! Гляди, как резво бьётся! –
 Пугал он криком майскую теплынь,
 Когда сверкал, весь золотой на солнце,
 В который раз литой красавец лень.

– Не расслабляйся, рыболов-любитель! –
 Смеялся дядя. – Продолжаем труд!
 ...Давно уже один у дяди Вити
 Заоблачный загадочный маршрут.

Поди, глядит он с горних высей зыбких,
 Вздыхая:
 – Точно, горе от ума!
 Племян, ты счастья золотую рыбку
 Так до сих пор ещё и не поймал?

А где ловить? На Золотом Затоне
 Давно уж стала частною вода.
 За золотую рыбку в погоне
 Здесь в банки запускают невода.

Былую жизнь загородив сетями,
 На промысел выходят за судьбой.
 ...А знаешь, дядя, счастье – это память
 О том, как мы рыбачили с тобой...

В подлунном мире, где на почве зыбкой
 Ты делаешь неверные шаги,
 Неравнодушен кто к твоим ошибкам?
 Кто радуется искренне? Враги!

Когда сбиваешь душу и колени
 До смертной боли, до кровавой зги,
 Чтоб любоваться властью твоим паденьем,
 Кто зажигает свет во тьме? Враги!

Когда в гордыне кажется, что к Богу
 Твои вот-вот приблизятся круги,
 Кто указывает верную дорогу
 Злорадствующим хохотом? Враги!

Что будет после – за последним вздохом?
 Себе, родному, ты в ответ не лги.
 Друзья не плачут – это очень плохо.
 Но хуже, коль нерадостны враги!

Добро и зло, нелепица и слово,
Дыхание огня и гул пурги...
Люблю друзей, и потому-то снова
Я говорю: «Да здравствуют враги!»

Научился писать предисловия,
А ещё – не пойму почему –
Величаться казачьим сословием,
Принадлежностью, значит, к нему.

Внук казачий – худым пополнением
Я в строю легендарной родни.
Забубённое поколение –
Поколение болтовни...

Встал бы пращур мой, силы и кровушки
Не щадивший за-ради страны,
И нагайкою – не по головушке,
А пониже вертлявой спины!

Чтоб очистило душу повинную
Верным способом этим простым.
Да поможет мне средство старинное
От бесцельности и суеты!

Чтоб за каждое слово неловкое
И за сладкую ложь между строк
Повторялся с казачьей сноровкою
Достопадного предка урок!



Невезучая

Как такое простить? Хотя, конечно, сама виновата. Сама же и познакомила Дину с Серёжей. Познакомила не только как свою лучшую подружку, но и будущую свидетельницу на свадьбе. Дина была подругой любимой, с детского сада ещё. Жили в одном доме, родители работали на одном заводе, поэтому и в садик ходили ведомственный, и в школу, и в пионерлагерь заводской вместе ездили. И когда Дина переехала (дали квартиру на расширение – близнецы в семье родились, два брата её), то всё равно ездила в родную школу – на автобусе полчаса туда, полчаса обратно.

Но после школы уехала в Барнаул, где бабушка жила, которая всё хуже себя чувствовала, однако перебраться к дочери не хотела. Пришлось Динке сменить место жительства. Там и в техникум поступила.

Серёжа друг Мириных знал, она его друзей знала, в письмах Динке писала: «С ума сойдёшь, какой у меня муж будет! Я сама с ума схожу, чуть диплом не завалила, голову совсем потеряла от любви. Приехал в наш город на практику, потом уехал, закончил вуз, вернулся уже как молодой специалист. А когда на заводе своё отработает, то к нему в Ленинград уедем. Мы с тобой туда на каникулы ездили, мечтали в таком городе жить. И вот у меня мечта сбывается! Будешь ко мне в гости приезжать. Он живёт прямо возле Летнего сада. Представляешь? Пешком – 5 минут. Я с его мамой сдружилась, ездила к ним, она сюда приезжала, с моими познакомилась. И папа у него очень хороший...».

Всё это Мира писала Динке. Та радовалась за подругу. И, конечно, специально приехала, чтобы познакомиться с женихом подружки и отрепетировать их свадьбу. Намечали грандиозную! Мира занималась в театральной студии, и студийцы хотели по старинным русским обрядам сыграть, заснять, показать потом на местном телевидении. Помимо современной свадебной одежды



Екатерина Фёдоровна Глушик – родилась в Ижевске, окончила филологический факультет Удмуртского государственного университета, работала учителем русского языка и литературы в школах родного города и группы советских войск в Германии (ГСВГ). Автор 10 книг прозы и публицистики. Лауреат премии «Эврика» за книгу рассказов «Простые разговоры». Лауреат премии «Лучшая книга года» (2006) за книгу «Беседы о Сталине», дипломант премии им. А.Н. Толстого, победитель конкурса журналистских работ «Беларусь – Россия. Шаг в будущее».

Живёт в Москве.



готовили одеяния, в которых раньше свадьбы справляли. Мишка, идиот из театральной студии (балбесов только и играл), даже сказал, что по старинному обычаю и простынь после свадебной ночи показывают, демонстрируя, что невеста честная.

Его зашикали. А Мира просто задохнулась от возмущения. Надо же, подлец какой! Про такое и говорить-то стыдно. Да и как иначе? Конечно, только честно...

Встречать Динку на вокзал поехала с Серёжей. Мира все уши ему прожужжала, какая у неё подруга великолепная. «В сто раз лучше меня! В сто раз! Сам увидишь. Ведь Алёнка и Валя хорошие? Так она – лучше. Мы друг за друга жизнь готовы отдать. Только ты меня к ней не ревнуй. Пока я её сильнее люблю, чем тебя. Мы же всю жизнь – вместе».

Встретили, поехали к Динкиным родителям. Посидели с ними. Они Миру как родную любили. Как и Динины родители Миру.

Дина приехала на две недели. И так хорошо время проводили! По вечерам после работы, в выходные – Сергей в полном распоряжении подружек. Мира после защиты диплома отдыхала и ждала место работы. Её, с учётом будущего замужества, не отсылали по распределению, а оставляли в городе, и она ждала вакансию экономиста в министерстве – там открывали отдел новый. Вернее, в представительстве министерства в их городе. И её, как краснокнижницу (диплом красный у неё), туда направляли. Сергей говорил, что с таким опытом работы – в министерстве – в Ленинграде на хорошее место можно переводом попасть, когда его отработка закончится и они к нему переедут.

Динины родители на выходные всегда уезжали на огород, как загородные участки в городе называли. Это в Москве – дачи. А здесь – кверху пятой точкой отдыхаешь – вкальываешь.

Дина как-то попросила, чтобы Сергей отвез её на дачу. Можно? Мирка даже пожурила Серёжу, когда тот стал отнекиваться, мол, мы же хотели на Каму поехать, на рыбалку. А она: успеем ещё на рыбалку, подруга уедет – тогда собой будем заниматься. Сейчас – давай, не ленись, не отлынивай, отвези. Тем более мы в свадебное путешествие на Байкал поедем – там нарыбачишься.

Мечта была – Байкал. Туда её группа ездила на практику, а Мира с вузовской командой в это время была на Универсиаде, честь вуза защищали. И очень жалела, что упустила такой шанс – Байкал. Поэтому не раздумывала даже, куда в свадебное путешествие отправятся – на «славное море».

Машина Мириных родителей была в распоряжении Сергея. А когда те уехали в санаторий, то вообще ключи оставили ему и доверенность. Катись куда хочешь.

Сергей жил в общежитии, квартиру, которая полагается молодому специалисту, пока не дали. Машину ставил у себя под окнами. Он отвёз Дину на дачу, но вечером даже не позвонил, как и что. Мира подумала, может, поздно вернулся, не стал её будить. Он очень заботливый, внимательный, не беспокоил лишний раз.

Утром тоже не позвонил. Он обычно с вахты общежития звонит, если лень к автомату на улицу идти. Всё ли нормально у них? Не попали ли они в аварию?

Сегодня вечером у Миры студийное выступление, Серёжа должен со своими друзьями прийти. На репетицию утром пошла мимо

общежития – машины нет. У вахтёра спросила, Николаеншина не видели? Та говорит, мол, вон ключ от его комнаты висит со вчерашнего дня.

Мирка чуть с ума не сошла. Точно – авария! Вдруг вместе с Динкой? И Мира в один миг лишится лучшей подруги и будущего мужа. До вечера надо подождать. А там – по больницам. Какое уж тут выступление!

Но руководительница студии сказала, что отмена спектакля – это ЧП. Артист в любое время, при любых обстоятельствах должен выходить на сцену. Привела кучу примеров, когда даже в день похорон своих родителей артисты играли комедии...

И вот, слава богу, Серёженька звонит. Оказалось, машина сломалась, пришлось заночевать на даче у Дины. Сосед помог починить. Всё нормально сейчас.

Только странно – Мира увидела Динину маму в универмаге, куда зашла за лентой (по роли в постановке в косу надо алую вплести). Такая в продаже была – повезло. Спросила тётю Ираиду, мол, вы не на даче? Та: нет, и не собирались – у отца срочная работа, а я к мануальному терапевту записалась.

– А Динка поехала вам помогать! – засмеялась Мира.

– Чего там помогать? Мы участок в этом году травой засеяли. Из-за болей в пояснице врач запретил в наклон работать, мы ничего и не посадили.

С Динкой такое бывает – путает. Не очень организованная. Золотая подружка. Как сестра – такая родная.

На спектакль Серёжа пришёл с цветами, вручил в конце выступления, проводил до дома. Но задумчивый был, рассеянный, смущённый даже, и на чай к Мире не поднялся, мол, надо чертежи посмотреть к утру. Ответственный – фу ты, ну ты! Да Мира и сама такая. Перфекционистка. Слово плохое, а качество – хорошее.

Пребывание в родном доме у Динки, приехавшей навестить родителей и познакомиться с женихом подружки, не бесконечное, так что надо не оттягивать репетицию свадьбы. Если обряды проводить, так это же надо и выучить, и хотя бы один раз с ребятами весь этот ритуал проиграть. Но Динка что-то на даче зависла. Там телефона у неё нет, а надо сообщить, что пора к свадьбе готовиться.

Мира попросила Серёжу отвезти её к Динке. Он замямлил что-то. Изменился он в последние дни. По работе что-то? Всё-таки на серьёзном предприятии работает. Не дай Бог что. Тут и «присесть» можешь на пару лет, если косяк какой.

Тогда Мира решила сама к Динке смотаться. Она права получила, однако практики вождения фактически не было. Но здесь дорога не очень сложная – садо-огороды нарезали близко к городу: 5 километров – и ты на своих сотках. А если совсем рано поехать – машин немного.

Так и сделала. Не хочет Серёженька ехать – не надо неволить. Сама привезу Динку-не блондинку.

Когда Мира подкатила к участку подружки и посигналила, представляя, как та обрадуется, Динка выскочила не сразу. И расфуфыренная такая! Бежала, на ходу посылая воздушные поцелуи. Подбежала к машине, прильнула к стеклу со стороны водительского места, увидела Миру... Лицо подружки поплыло: смотрела так, будто чёрта узрела. Даже не испуг, а ужас, оторопь.

Мира открыла дверцу, захохотала:

– Ты чего напугалась? Не ожидала меня за рулём? Как видишь, рассекаю. Зря, что ли, права вымучивала?

Дина села на скамейку. Не поздоровавшись, молча сидела, потом словно очнулась, натянуто улыбнулась, пробормотала что-то.

И даже в дом не позвала. Да Мире и некогда рассиживать. Скомандовала:

– Собирайся. Надо репетировать свадьбу. Вечером ребята придут. Всех собрать – такой трывдовище! А ты тут зависла. Чего тебе на этих лужайках делать? Нашла удовольствие. Я думала, мы каждую свободную минуту будем вместе, а ты? Негодяйство это, Дина Петровна.

Динка сказала, что сейчас не поедет, а вечером сама доберётся, на автобусе. Ей надо с соседкой кое-какие дела сделать, обещала той, а вечером приедет. Одним словом, несла околесицу. Мире самой некогда было ждать здесь до вечера. Потому что до репетиции надо ещё забрать костюмы в театре: договорились с костюмером.

– Не опаздывай, странная женщина, – Мира отправилась домой одна.

На репетицию не пришли ни Дина, ни Серёжа. Но поскольку собрались все студийцы и режиссёр-постановщик свадьбы, то всё равно отрепетировали, за свидетельницу была Лариска, за жениха – Игорёша. Настроение не то, конечно, но дело надо делать, а потом уже отношения выяснять. Мира даже разозлилась немного. Но остыла быстро. Мало ли что у людей? Тем более, так весело репетиция прошла!

Пошла в общежитие к Серёже – его там нет. На следующий день встретила после работы – подкараулила у проходной. Он так покраснел! Сослался на проблемы на работе, сказал, что в командировку уезжает длительную. Как длительную? На сколько? А свадьба? Опять замямлил.

Мира пришла домой, разревелась. Что с ним? Что может быть такого на работе, что Серёжу словно подменили?

И поделиться не с кем, посоветоваться. Маме не расскажешь – расстроится. Папе – тем более. Пойдёт по-мужски с будущим зятем разбираться – дров наломает. Сестра ещё мала такие вещи слушать.

Динке надо поплакаться. Она тоже подвела – не приехала на репетицию. Но чего обижаться, не зная причины? Может, подруга заболела, а я на неё сержусь. Алёне с Валькой пойти рассказать. А чего пока рассказывать-то? Может, зря печалюсь?

Буквально недавно у папиного двоюродного брата жена умерла. А жена другого брата (они невестки, получается), с которой та очень дружила, в больнице лежала, и очень обижалась, что Соня её не навестила ни разу. Ей, перенесшей операцию на сердце, не говорили, что Соня умерла, не расстраивали. И вот тётя Ирина всё сетовала: с ума Софочка сошла, что ли? Я уже месяц в больнице, а она ни разу не навестила, только букеты шлёт.

На мёртвую сердилась.

Но и сама – скончалась: тромб после операции образовался. Так братья овдовели почти одновременно. Может, и Мира дуется на Дину, а у той – обстоятельства.

Мира позвонила Дине домой. Приехала она с дачи своей? Мама Динина говорит, дескать, она с дачи приехала и к тётке в соседний город махнула на неделю. Совершенно неожиданно. Были сборы недолги, как говорится.

С ума все походили!

Через неделю звонит Мира подруге – оказывается, Динка уже обратно в Барнаул умотала. Даже не попрощалась. Да что это за конец света? Коллективное помешательство.

...Сообщение о том, что Дина и Сергей поженились, причём их зарегистрировали в срочном порядке, поскольку невеста беременна, прозвучало не как гром среди ясного неба, а как адская тишина – когда ты ничего не слышишь вообще. Контузия настоящая. И поскольку молодой специалист Сергей должен отработать ещё полтора года на заводе, то Динка приехала к родителям.

Но и на этом «радости» не кончились – место Миры в министерстве отдали племяннице секретаря горкома. Миру направили в леспромхоз – по распределению это самое захудалое место было, и так как все уже разъехались по назначению, пока она ждала вакансии в министерстве, то худший вариант ей и достался. С одной стороны, это хорошо, а то бы пришлось жить в одном городе с подругой-предательницей и бывшим женихом, неизбежно пересекаться...

От леспромхоза – а контора находилась в районном центре – предоставили прекрасную жилплощадь на берегу реки. Правда, заселили сначала в общежитие. Сказали, пока подкрасят, побелят её квартиру, временно придётся в общежитии перекантоваться. На будущее жильё Мира посмотрела – красотища! Вид на реку, на другом – крутом – берегу бор, под окнами – цветник. Хоть в чём-то повезло.

Сразу по прибытии, чуть не на второй день, Миру послали на лесоразработки – с документацией помочь там разобраться. С приключений, одним словом, трудовая деятельность началась. Одна дорога чего стоила! Буераки, колеи такие, что едва не полчаса машина буксует, комарьё тучами.

Мужики на лесоповале её всерьёз и не приняли поначалу. Но Мира так спокойно и деловито разобралась с документами, которые были в полном хаосе, что уезжала уже с букетиками цветочков – чуть не каждый кавалер захотел преподнести. Кстати, местные женщины – такие матёрые повариха, нормировщица, учёгчица – не ревновали, а как сестру провожали. Они не старые, в матери не годятся, но и для подружек – переростки. А как сестрёнка – вполне им годилась. Мол, ещё приезжай. Да придётся, и не раз, побывать.

Вернулась, предвкушала, как будет обживать квартиру, привезла набор посуды из дерева. И – новость: её квартиру заняла какая-то девица, чья-то подруга. Миру уговорили не качать права, девушка там ершистая, будет ходить, окна бить, если её выселить.

Мира недоумевала:

– У нас что, нет советской власти?!

Ей намекнули: кто эту власть представляет, тот и поселил на место молодого специалиста шалаву с неполным средним образованием.

Мира не стала права качать. Не из-за боязни разбитых окон, а просто противно было.

Так Мира в общежитии с общим туалетом на шесть квартир на этаже, без горячей воды прожила два года – до замужества. Со временем выяснилось, что та квартира на ней и числилась. Просто ей счета не присылали за коммуналку, чтобы шито-крыто. Она же, как молодой специалист, должна быть обеспечена жильём. Вот на бумаге она и была устроена.

Выяснилось о махинации с квартирой случайно, когда на собрании профорг отчитывался о проделанной работе за годы его руководства, и имя

Миры прозвучало в числе молодых специалистов, обеспеченных отдельным жильём. Она пошла к докладчику выяснить, что это за отдельное жильё – 9-метровая комната с общей кухней и туалетом на этаже.

Скандал замаяли.

Мира, чтобы побаловать себя после этих передрыг, поехала в отпуск на Байкал – мечта с юности. Неудавшееся свадебное путешествие. По туристическому варианту выбрала поездку: походы, палатки.

Такая хорошая компания собралась! Походы, костёр, песни под гитару. Мира даже сама научилась немного бренчать. Её обучал Паша, который жил, кстати, недалеко от её райцентра, тоже как специалист молодой в этих краях оказался.

Разъехались с Байкала все друзьями, адресами обменялись. А через месяц Паша стоит на пороге её комнаты в общежитии с букетом – свататься приехал. Неожиданно. Вдруг – на пороге. Она его не любила. Не было и тени того чувства, что к Серёже. Отказала уклончиво, мол, надо подумать.

А он приезжал, приезжал... Его отработка по распределению заканчивалась, и он место на заводе в их райцентре подыскал. Переехал. Устроился – продолжал ухаживать.

Встречались, дружили – просто дружили. Решили пожениться, когда его направляли в командировку в одну из африканских стран – на помощь при строительстве комбината. И Мира с ним должна была ехать – брали именно семейные пары.

Командировка сулила материальный достаток, новые впечатления. Пришлось столько проверок пройти, столько прививок сделали... Мира напугала заказов. Всё-таки за граница. Ей было приятно думать, что она берёт реванш. Вышла замуж и едет за границу!

А Сергей, она слышала, стал пить. Первый ребёнок, нагулянный на даче, аутист у них, второй, вроде, нормальный, но Динка опустилась, за собой не следит. Так и живут, в Ленинград не поехали – мама Серёжи, которая полюбила Миру, невзлюбила Динку. К себе не принимает, а жить в Ленинграде, да ещё с больным ребёнком, молодой семье негде. Сергею дали шикарную квартиру от завода: всё-таки нужный специалист.

У Миры в итоге тоже квартира хорошая – это Паше дали. Не на берегу, но зато в новом доме.

И буквально как они въехали в свою квартиру – ЧП областного масштаба: река разлилась небывало – сброс неконтролируемый на ГЭС произошёл, и дом, в котором Мире должны были квартиру дать – затопило. Двое погубило, во сне утонули, и именно в квартире, которую у Миры увели. Гостя принимала эта, «с неполным средним». Женатый, кстати, был. Оказывается, жене сказал, что в командировке, а сам в чужой постели утонул. Жена даже похоронами заниматься не хотела.

Вот тебе и квартира на берегу!

...Уже перед самой поездкой в Африку командировка сорвалась. Оказалось, дочь директора завода специально спешно замуж вышла, и послали её мужа, у которого даже опыта соответствующего не было. Она отправилась как член семьи и специалист одновременно. Собственно, Миру-то тоже семейной парой хотели послать.

Но медовый месяц и сборы в несостоявшуюся заграничную командировку проходили плодотворно, и Мира родила дочку. В Африку бы беременная

поехала, выходит. Слава Богу, ребёнок здоровый, на редкость, как сказали в роддоме. Хотя такие переживания всю беременность были!

Паша звёзд с неба, что называется, не хватал. Но мужем очень хорошим был. Спорт – всего понемногу: и футбол, и лыжи, и плавание. Руки правильно в правильное место вставлены – всё по дому делал. Любви у Миры, когда женились, не было, уважение было. А потом, как пожили – словно пришили к мужу, представить уже не могла, как бы без него...

И с его родителями отношения прекрасно сложились. Маме его нравилось, что Мира не заставляла мужа ни посуду мыть, ни пелёнки стирать, никогда не ругала ни за что. Хотя он порой уедет с друзьями на рыбалку – несколько дней нету. А Мира уже с двумя детьми, без бабушек-дедушек, только приятельницы, молодые мамы друг другу помогали-выручали. Све-кровь, кстати, ещё до свадьбы сыну про его увлечение рыболовное говорила: какая жена будет твои рыбалки терпеть? А дети пойдут?

А тут – ни одного упрёка от жены, никаких сцен. Поехал на рыбалку? Смотри, осторожно там. Береги себя. И всё. Мать пару раз свидетелем таких прощаний была. И даже подумала, что сама бы не так себя вела – она бы мужа на место поставила, все бы удочки переломала.

Свёкор просто обожал невестку, тем более что та предложила второго ребёнка именем бабушки назвать – Федей, хотя имя это было не то что немодным, а высмеиваемым. После комедии, где прозвучало: «Надо, Федя, надо». И кому ни скажешь, как зовут – так слышишь это «надо».

Вдруг – весть. В стране той переворот, бунтовщики взяли в заложники иностранных специалистов, требовали выкуп. Советские выкуп никогда не платили. Да и бессмысленно было: как оказалось, всех заложников (там ещё француз был) сразу убили, и даже тела в итоге не выдали. Когда фотографии убитых всё-таки нашему посольству предоставили, родители на родине могилы сделали, похоронили в них личные вещи какие-то... Ужас! Убитыми быть, да ещё, может, зверями съеденными в чужой земле.

Паша с завода в итоге из-за того, что с командировкой прокатили, ушёл: обида всё-таки была. И уже с нового места работы, из Спецмонтажстроя, где главным инженером работал, уехал на прииски, на Колыму. Мира к нему присоединилась, как только учебный год у детей закончился.

Очень нравилась ей, городской, жизнь в посёлке. Своя прелесть в неспешности, в местном патриотизме, когда ты знаешь всех, все знают тебя...

Мама приехала к ней всего один раз – очень уж долго лететь. Рассказывает – посадили в тюрьму Оксану-то, на взятках попала. Какая Оксана? Что твоё место в министерстве заняла. Она, конечно, сама виновата. Но её должность – сплошной соблазн. Она подписывает итоговый документ. И все стремятся ускорить дело – деньгами, борзыми щенками взятку суют. А тут началась волна борьбы с нечистоплотными чиновниками. Ну, а её горкомовец уже не при делах. Вот и присела.

Пашу вскоре назначили заместителем директора прииска. К сожалению, старый – во всех смыслах – от рака умер. Хороший был мужик, правильный, хотя матерщинник! Как сам говорил, мог бы преподавать культуру речи извозчикам. Но матерился всегда за правое дело. Паша считал, что можно и без мата, просто надо лучше наладить работу. Семён Семёнович на это и скажи – вот и наладь, когда я возглавлю процессию скорбных лиц. И сам Павла уговорил занять его место, мол, с него прямой путь – в директора, ведь нынешний по состоянию здоровья,

достигнув пенсионного возраста, точно укатит к себе на Украину – в тепло и к салу. Семён Семёнович в министерстве хлопотал, что именно Павла надо ставить на его, замдиректора, место, мол, толковый очень парень, порядочный.

А Мира кардинально сменила сферу деятельности – стала руководить театральной студией в местном клубе. Она от скуки, собственно, заочно закончила культпросветучилище, а в посёлке был клуб, театральный кружок, но на место руководителя никого найти не могли. Её и уговорили в поселковом совете это место занять, когда она дипломы об образовании представила. И дочка занималась у неё, под присмотром. Выезжали студийцы на разные конкурсы, дипломов – вся стена в студии увешана.

И вот – растащилровка-перестройка нагринула. Прииск продали. Директор на пенсию быстро свалил – укатил. Но на его место не Павла, а из Москвы директора поставили. Сопляк, никакого опыта. И прямо сказал: я своё дело, для чего меня прислали, знаю. А вы – своё делайте. Паша так работу наладил, особенно технику безопасности и досуг организовал образцово-показательно, что лакомый кусок этот прииск – не только из-за самого золота. Как часы работали все службы.

Обидно было и Паше, и Мире, что так обошлись и с ним, и с коллективом – многих разогнали, мол, оптимизировать надо, бездельников много. Потом пришлось новых набирать – сброд, кого попало. Так что оптимизация ещё та. Мужу непереносимо было смотреть, как разваливают и разворывают и прииск, и посёлок. И поделаться ничего нельзя: хозяева – закон.

Собрались – и уехали в Ленинград, как Мира всегда будет называть этот город. Деньги скопили, купили квартиру хорошую, Паша сам ремонт делал – руки-то золотые. Пока даже на работу не устраивался, чтобы самому гнёздышко обустроить.

А Мира сразу в работу включилась – в театральную студию при Дворце пионеров устроилась. Она по конкурсам разным была известна в этих кругах, портфолио, так сказать, солидное. И всю страну со своими студийцами объехали, и за границей на фестивалях бывали. Пьес на современную тему практически не было, и Мира сама стала писать, чтобы было, что ставить. По одной пьесе даже короткометражку сняли как дипломную работу в ЛГИТМиК.

В гости то и дело приезжали ребята с прииска. Все почти разъехались, но связь держали с оставшимися. Оказывается, нового директора прииска убили, семью вырезали – жену и ребёнка. Главного бухгалтера вообще зверски распотрошили буквально. А ведь могли и они на этом месте оказаться!

Что творилось! Святые девяностые, кровью захлебнувшиеся...

Мире иногда хотелось поехать на улицу Чайковского, где Серёжа, её жених, жил, в гостях у его родителей она бывала, мама у него очень хорошая. Сразу тогда подружились. Да и папа тоже. Но то не решалась, чтобы не бередить старое, то ещё что... Собственно, чего бередить? Муж-то в итоге у неё – золотой.

А тут как-то пришла в публичную библиотеку, Салтыковку, чтобы альбомы театральных костюмов просмотреть. Разговорилась в читальном зале с библиотекарем, вроде, совсем тихонько, а сзади голос:

– Мира, это вы?

Оглядывается – стоит пожилая женщина. Кто такая? Может, бабушка её студийцев? Но Миру же на работе все по имени-отчеству зовут.

– Не узнаёте, Мирочка?

Мама Серёжи! Изменилась – неузнаваемо.

Обнялись, заплакали. Когда Мира плакала вообще? И не помнит. Слава богу, беды семью стороной обходили, слёзы лить не приходилось.

Татьяна Борисовна, оказывается, в Салтыковку часто приходит, чтобы почитать, в спокойной обстановке посидеть. Она преподавателем работала раньше, занималась здесь. Миру по голосу узнала. Хотя и тихо говорили с библиотечаршей, а сидела за первым столом и услышала. Через столько лет!

Мира ничего не спрашивала, но Татьяна Борисова сама поведала: Серёжа с ней, в Ленинграде. Дина с детьми, у себя, в Перми. Первый ребёнок – аутист, второй – наркоман, в колонии для малолеток. Дина спилась совсем, как и Серёжа. Мама его привезла домой, надеясь, что меньше пить будет. Он разовую работу находит, даже без трудовой книжки поработает месяц – запой. Вот мама и спасается чтением в библиотеке.

– Что и говорить, Мирочка, с вами у него совсем по-другому жизнь бы сложилась. Я всё время об этом думаю – как счастливо мог бы прожить мой сын, какими были бы дети... Я, как могу, помогаю внукам, репетиторством подрабатываю. Но к себе Дину не пушу жить. Они же приезжали, пытались здесь обустроиться. С год пожили – со всеми соседями невестка перессорилась. Скандальная баба! Она умеет только разрушать жизни и отношения. Павел Петрович инфаркт из-за неё заработал. И буквально сгорел. Мужа сгубила, сына моего сгубила. Он со мной живёт, но это же не жизнь полноценного человека – мужа, отца...

Мира пригласила Татьяну Борисовну в кафе, пообщаться. И сдружились. Та приходила в гости. Иногда даже ночевать оставалась, по-родственному. К себе, понятно, не приглашала, Мира и сама бы не пошла, чтобы не омрачать тот, давний, образ Серёжи. Всё-таки первая любовь. На алкоголика смотреть не хотела.

...Мира уснуть не могла – волновалась. Паша на рыбалку свою уехал, с ночёвкой, и она всегда переживала, но тут – особенно как-то. И вдруг – то ли задремала, то ли что, и – женщина. В дрёме или наяву? Непонятно. Тепло от неё идёт, лицо доброе, как мама, и как будто обволакивает этим теплом, говорит:

– Всё будет хорошо. И на этот раз отведу, – погладила по волосам Миру и исчезла.

Мира глаза открывает. Что это? Присутствие чьё-то ощущается. Даже запах. Свежести, как будто. Мурашки – вот они. По всему телу. Бррррр..

Что за женщина? Куда отведёт? Кого?

Мира была убеждённым атеистом. Во всякие такие штучки не верила. Хотя признавала сверхъестественное. Или необъяснимое. В общежитии, где она тогда жила, была девчонка из Молдавии, из села какого-то за романтикой в Сибирь приехала. Она все сны толковала совершенно точно. Кухня была общая, утром там перед работой иногда и завтракали все вместе. И вот соберутся девчонки, кто что помнил – сны рассказывают, просят растолковать. Мира, во-первых, сны не помнила, во-вторых, опасалась этих толкований. А про других с удовольствием слушала. Но вот как-то и сама говорит:

– Лизавета (та себя именно так требовала называть – Лизавета), мне приснилось, что я купила кроссовки (тогда это такой дефицит был!), но они мне малы.

Та и говорит:

– Познакомишься с парнем, который будет ниже тебя.

Все захохотали.

Мира день отработала – никто, никакой небольшого роста не пришёл в контору, на обеде тоже низкорослые не шли знакомиться, села на автобус – пара маршрутов и было-то здесь, он прямо у дверей общежития останавливается. Вот сходит с автобуса и думает: «Посрамлю Лизавету – толкование неверное. Ни с кем не познакомилась».

И вдруг голос сзади:

– Девушка, можно с вами познакомиться?

Оглядывается – парень, ростом ей по плечо, стоит.

Мира расхохоталась. А он смутился. Она тоже смутилась, говорит:

– Это я не вам, я анекдот вспомнила.

Чтобы не смущать его и дальше, познакомилась. Даже прошлись, но Мира сказала, что у неё есть друг, поэтому встречаться не могут. Однако познакомит с подружкой. Алия тоже была роста небольшого и очень стеснительная. И действительно – сдружились они, поженились. То есть сводней выступила. На этот раз добровольно из рук в руки передала кавалера.

Или ещё раз она видит сон, что с руки птиц кормит.

Лизавета сказала, что приедет неожиданный гость с добрыми вестями.

И вот именно тогда – Паша на пороге. С добрыми вестями – предложение сделал. Хотя она и не приняла предложение, но плохой вестью это назвать нельзя.

Так что есть что-то, чего объяснить нельзя.

Или вот на работе бухгалтер, постарше Миры, да и всех в конторе, видела во сне накануне тех людей, кто затем умирал. Видит: идёт по кладбищу якобы – а там памятник с фотографией человека и датами смерти. Или газету с некрологом во сне читает. Или видит, как человека уводит тот, кто уже умер, покойный. И человек, приснившийся в таком виде, действительно умирал. Ужас порой рассказы наводили. Даже боялись иногда, если Антонина Антоновна говорила:

– Девчонки, вот во сне видела...

Холодели все.

Как-то сообщает:

– Новый начальник у нас будет. Петрович наш – не жилец. Во сне вижу – сидит мужик в поезде и читает газету, а там – фото Петровича в чёрной рамке.

На следующий день – инфаркт у Петровича, который в это время в санатории отдыхал.

Или говорит, когда в райцентр эстрадная звезда должна была приехать:

– Никакого концерта вашего Эдуарда Приобского не будет! Сдавайте билеты. Помрёт.

А по радио передают: в автоаварии погиб известный исполнитель...

Даже про зарубежных снились ей такие сны. Как-то пришла, плачет. Видела своего кумира – итальянского певца. Якобы у них на районном кладбище похоронен, свежая могила, венки.

Точно! Любовница того зарезала, передали по новостям.

Антонина Антоновна ещё говорила тогда, переживала:

– С гадиной связался. Была бы я с ним рядом – до ста лет прожил бы, пылинки сдувала бы.

А кто-нибудь умрёт, о ком она не предупреждала, её упрекают: этого просмотрела, не предсказала. Она парирует: миллионы людей мрут, всех времени не хватит пересмотреть, даже если бы круглыми сутками спала. Думаете, это приятно?

Так что есть что-то, есть.

Но что это видение Мирино значило, женщина эта? С одной стороны – словно мама – добрая, теплом обволакивающая. А с другой – холод по спине. Может, на тот свет отведёт? Проснувшись, некоторое время Мира даже боялась встать с кровати. Словно эта женщина сидела на кухне или в комнате. Спихватилась – сын же и дочь спят каждый в своей комнате. Побежала – не там ли женщина, будто из видения она могла в жизнь их прийти, в плоть облечься, материализоваться. Вот до чего явно всё выглядело.

...Паша, слава Богу, вернулся жив-здоров, и на следующий день дочка должна была в числе победителей математической олимпиады отправиться на трёхдневную автобусную экскурсию. В 8 часов утра автобус отходил от станции метро «Гражданский проспект». Поехали провожать всей семьёй, приезжают – а для неё места нет! Мол, её на пол-очка опередила другая девочка из другой школы. Результаты пересчитали, и вот – от ворот поворот. Поверить невозможно! Руководительница поездки, грубая такая бабица, просто оттолкнула Миру, пытавшуюся что-то выяснить, мол, не мешайте, отойдите, в школе потом своей разбирайтесь, а сейчас – дайте победителей рассадить. Пашка чуть драться не полез. Мира его еле успокоила. Дочка слёз сдержать не может. Она так гордилась грамотой, призом – поездкой. Суматоха, родителей больше, чем призёров, даже не объяснили, что за девочка вместо дочки едет. Да и неважно сейчас. Если мест нет, то на крыше не поедешь.

Тю-тю поездочка.

Да что такое?! Всю жизнь кто-то у Миры из рук буквально ей полагающееся вырывает, из-под носа уводит! Есть же наглые люди!

Приняли волевое решение – Мира с сыном вернётся домой, а папа повезёт Варьку в Москву на выступление молодёжной группы! Варька очень хотела попасть на такой концерт, но он совпадал с поездкой-призом. Мира на ухо Паше сказала: билеты за любые деньги купи – надо в ней это разочарование радостью перебить. Только не гони. К вечеру приедете, концерт завтра днём. Вечером – обратно. Заночуете у тёти Ирины, она всегда ждёт. Только не гони, прошу.

Доехали Паша с Варюхой нормально. Она радостная! На удачу спросили в театральной кассе билеты – кассирша, услышав, что примчались из Ленинграда специально, дала два, намекала... Отец намёк удовлетворил. Ура!

И вдруг в новостях сообщение: перевернулся автобус с группой школьников. Да это же тот самый! Боже, боже! Есть пострадавшие, в том числе дети, одна погибшая – старшая группы. Хабалка та самая. Ну, о мёртвых – либо хорошо... Вот уж воистину – Бог с ней.

...К Мире в гости приехали одноклассницы. Они вчетвером со школы дружили. Мира тогда ближе с Диной была, а Валя – с Алёной. С Диной она, конечно, общаться перестала, а с девчонками – очень тесно. Те и в Сибири её навещали, на отработке, и на прииске были. Останавливались у неё в Ленинграде – квартира большая, в центре города, места не жалко. Да и любила своих принимать, поболтаешь хоть, обо всех узнаешь.

Немного выпили, так, красного сухого. И вот Валюша говорит:
 – Тебе же не везло всю жизнь – жениха увели, вакансию увели, квартиру хорошую увели, место за границей – увели, на прииске Пашке место директора не досталось. Всю жизнь в пролёте.

Мирка и поддакни:

– Я тоже об этом думаю. Просто лузер. Говорят, есть ангелы-хранители. А у меня – разрушитель, что ли? Всё время у меня моё отнимают.

Алёна тут же с недоумением:

– Как это всё увели у тебя? Серёжка твой алкаш – слава Богу, отвело тебя. Неизвестно ещё, удержала бы ты его от пьянки или нет. А у тебя вон какой муж. В министерство не попала – и слава Богу! На этом месте сидеть – прямой путь в тюрьму. Не хочешь, а взятку возьмёшь. Развращает место. Оксанка-то, девка, хоть и блатная, но не плохая была, не алчная. Ей несли – она и брала. А из тюрьмы хоть и вышла, по амнистии, но жизнь-то под откос. Это сейчас за взятки награды дают. А тогда и ты бы могла – коробку конфет сначала, потом сервис чайный, потом десятку в папочке подсунули – и вот уже следователю признательные показания даёшь.

Когда на Байкал не попала с группой, как ты переживала! Зато потом поехала туда и мужа привезла. А если бы тогда на практику съездила, может, и не потянуло бы больше, и Паша бы твой в чужие руки уплыл. Квартиру не получила – и слава Богу. В наводнении обидчица твоя утонула. Неизвестно, сама бы ты выбралась?

И чего на прииске? Так бы и тебя с семьёй вырезали, как директора твоего. Или сидела бы там, золото гребла. Для чего? А сейчас ты – театральная деятельница! Сценарист, постановщик. Да у тебя ещё какой ангел! От всех бед отводит!..

Точно! Ну ведь точно. То ли так не везло ей, то ли так везло?

Мира материалист, конечно, в знаменья не верит. Но всё-таки кто эта женщина из забытья? «Всё будет хорошо. И на этот раз отведу», – так это явственно прозвучало, и женщину так явно видела, словно та наяву приходила.

Кого и куда она отведёт? Или что отведёт? Или уже отвела?



ПРОЗА

Евгений ЮШИН

Евгений Юрьевич Юшин (род. 1955) – русский советский писатель, прозаик, поэт и редактор. Член Союза писателей СССР с 1987 г. Главный редактор журнала «Молодая гвардия» (1999-2009), секретарь Правления Союза писателей России с 2005. Лауреат Большой литературной премии России (2008), а также других литературных премий.

Живёт в Москве.



Россия начинается со Слова...

Стансы

Над церквями – синь да золото.
 Зори падают в сады...
 То ли Тверь, а то ли Вологда –
 Много неба и воды.

Вкривь – дорога непролазная:
 То Европою вздохнёт,
 То дремучей вязнет Азией
 Наших квашеных болот.

Всё мы знали, всё мы видели.
 Ад и Рай – в одной горсти.
 Сучьи свадьбы у обители,
 Боже праведный, прости!

Ты прости меня, смородина,
 Серый волк и лес густой.
 И болото – тоже родина,
 Как и терем расписной.

Спит речушка за околицей.
 По заре размазан мёд.
 Зычный колокол на звоннице
 Покаяние поёт.

Здесь – века обетованные,
 Слава ратная Руси,
 Кисть Рублёва, снега пьяные,
 Кроткий ангел в небеси.

Здесь то горлинки, то вороны.
Птица-тройка – напрямик!
Пристяжные рвутся в стороны –
Строг и крепок коренник!

Озерцо, травинка волглая,
Синь сквозная – в небеса.
То ли Тверь, а то ли Вологда,
То ли – матушки глаза.

Россия начинается с дороги,
С бурана, бурелома и берлоги,
С разбойников, узорочья берёз,
С молитвы светлой и горячих слёз.

Россия начинается с тревоги.
Кто наши не притаптывал пороги?
Ордынцы и тевтонцы – всё разбой.
... Узорный плат, наличники – резьбой.

Россия начинается с надежды.
То рядит европейские одежды,
А то китайский примеряет шёлк.
И – щёлкает клыком тамбовский волк.

Распевом красок инока Рублёва
Россия начинается со Слова.
Веди судьбу – душою не криви.
Россия начинается с любви.

С разгульной песни тракториста Сашки,
С горячего глотка из тёртой фляжки,
С горячей, горькой правды, в мире лжи,
И с васильков, мерцающих во ржи...

Андрею Шацкову

Над Куликовым полем – мгла.
Летит! Летит! Летит!
Её калёная метла,
Из века в век пылит.

Донской Димитрий и Боброк –
Плечом к плечу:

«Ты знай,
Не будем больше мы оброк
Платить тебе, Мамай!»

Но снова жатву жаждет мир.
Нет Азий и Европ!
Справляют бесы праздный пир
И – голова в сугроб.

То лях надменный набредёт,
То белокрысый швед.
Метла – метёт! Метла – метёт!
Метле покоя нет!

Простор и холод – век открыт.
И скифы всё летят!
То – полынья, то – чёрный скит,
То – выводок грачат.

Но снова жатву жаждет мир.
«Молись, Боброк!»
«Молюсь».
Гудит эфир, летит – в эфир:
«За Родину, за Русь!»

Донской Димитрий строг и прям.
Обочь – шелоном стог.
И в новой битве в помощь нам
Отечество и Бог.

И мы не простые, и жизнь не проста.
Иуда как прежде, целует Христа.
Иуда, как прежде, Христа предаёт,
Как прежде безмолвствует тихий народ.

Но всё-то не просто, и всё-то не так.
Шипит на Россию надменный поляк.
Братушка болгарин который уж год
Оружие нашим врагам продаёт.

А как целовали и в дружбе клялись!
К груди прижимались, но вот отреклись.
И речи пустые и очи пусты.
Славянское братство, да было ли ты?

Когда ж чёрный морок с братьев опадёт,
Собой ужаснётся предавший народ,
И с горькой слезою к России придут
Все те, кто с молитвой к Христу припадут?

А мы будем помнить, что жизнь не проста.
Иуда опять поцелует Христа.

К Европе

Свобода пошлости и трёпа
То розова, то голуба.
Прощай, продажная Европа –
Американская раба.

Прощай, хоть сколько можешь злиться,
Иудин предрешён исход:
Тебе осталось удавиться,
Ты предала и свой народ.

Скользит, чадит твоя дорога.
И мы сплотились неспроста.
Вот ты живёшь, забыв про Бога.
И стала жизнь твоя пуста.

Прощай, нам путь иной известен,
Где нет ни злата, ни межи,
Где зреет поле хором песен
И взглядом васильков во ржи.

И если за судьбу народа
Нам доведётся умереть,
Нас встретят ангелы у входа.
Вам – в преисподнюю лететь.

У Борисоглебского Монастыря

...И прикрыл свои очи святой Иринарх,
Тонкий сон посетил его тело.
И привиделось: скачет завистливый лях
Грابتь милые сердцу пределы.

А и вправду – разор и пожары вокруг,
А и впрямь за набегом – набег.
Поле вспахано пламенем, выжжен и луг.
Ухмыляется шляхтич Сапега.

Вопрошает: «Что скажешь, суровый монах?
Что так взоры твои не учтивы?»
И к литовцам, и к ляхам воззвал Иринарх:
«Убирайтесь! Останетесь живы!»

Узловатые пальцы сложились в щепоть.
Вскинул старец тяжёлые руки:
«Вижу я, как мечом отправляет Господь
Души пришлых на вечные муки».

Монастырские стены строги, как набат,
Грозным эхом сквозь годы и нивы
К тем, кто сеет разор и чужого хотят,
Не угаснув, слова Иринарха летят:
«Убирайтесь! Останетесь живы!»

Алексею Шорохову

Идёт братишка минным полем,
Дорогой хлюпкой, горевой.
А мы грехи его отмолим,
Чтоб воротился он домой.

И сквозь пожухлую дернину,
И пёрышки зелёных трав
Донской Димитрий мчит дружину,
За землю русскую восстав.

Они поддержат нашу песню –
Кутузов, Жуков... Жгучий год!
Они – пришли, они – воскресли,
Чтоб за собой вести народ.

И мы – готовы. Степь – былинна.
Зари пожара – не унять!
Идёт братишка полем минным,
Чтоб мог Суворов проскакать.

Война рванула взрывом – в ноги,
И – кровью в горло. Солона!
И дышит пепел на дороге,
И ходит полем седина.

И – ад вокруг, и – Рай в глазах,
И – мамка плачет в небесах!

От деда пахнет мёдом, туманом, огородом,
Рыбацкою лодчонкой, копчёным рюкзаком,
От бабушки – стогами, вареньем, пирогами,
От мамы то малиной, то тёплым молоком.

От бати – пот и порох, и дней суровый ворох.
Жена рассветом пахнет и щебетом детей.
Стоим и замираем, а в церкви пахнет раем,
А в церкви пахнет раем и родиной моей.

На Воже

Раньше был азартней, громче и моложе.
Уходил на реку – травы в седине, –
Чтобы лечь на берег задремавшей Вожи.
Звёзды – над рекою, звёзды – в глубине.

Костерок, картошка и тулуп – на землю.
Вот и радость жизни. Перепёлки свист.
За дорожкой лунной тихо лодка дремлет.
Ветерок по лугу – тонок и душист.

Многое мечталось, да не всё сбывалось.
Та, что улыбалась, – где теперь она?
За селом заречным дали не осталось.
На висках туманом тлеет седина.

Но затею праздник и ещё спляшу я,
И со мною гуси спляшут у оград.
Поднесёт мне солнце стопку золотую,
И споёт мне песню яблоневый сад.

Раньше был азартней, громче и моложе.
Не нужна перина, не нужна кровать.
Приходил на берег задремавшей Вожи
Думать о любимой, в звёздах засыпать.

Я возьму с собою в зиму
Дымку глаз твоих озимых,
Перстенёк росы на ветке,
Взгляд сосны из-под ресниц,
Гимны грома и дубравы,
Плач волны у переправы,

Мотылёк огня лампы,
Охи-ахи половиц,
Лай собачий – дальний-дальний,
Огонёк во тьме печальный
И шмеля в боярской шубе, –
Пусть покажет свой басок.
Будут мне светить всю зиму
Дымка глаз твоих озимых,
Огонёк во тьме печальный
И на ветке – перстенёк.

Как рассказать тебе, что я
Ни с кем тебя не предавал,
Что мне приятна грусть твоя,
Припухших губ твоих овал?

Да, были женщины, и я
Не мог сдержать свой жаркий пыл.
Но верь, любимая, что я
Другую вовсе не любил.

Я изменял?

Не изменял!

Но был с другой?

С другою – был.

Весна. Распутица. Вокзал.

Но и с другой – тебя любил.

Под окошком отцветает примула.
За дорогой – ветер и жнивье.
Промелькнула звёздочка – и сгнула,
Словно бы и не было её.

А ведь долго над борами синими,
Плавала, ныряя в облака.
Никогда не звал её по имени, –
Любовался ей издалека.

Помню я: поутру над берёзами,
Побледнев при заревом огне,
Тая над туманами белёсыми,
Нежная, подмигивала мне.

Ах, не каждый добредёт до старости!
И не каждый прожитым богат.
Мир не только для любви и радости,
Но ещё для боли и утрат.

И упала осень на осинники.
От избёнок потянулась тень.
Забегали сохлые малинники
В топкие ухабы деревень.

Я уеду скоро. Буду в городе
Вспоминать упавшую звезду.
Тычется луна туману в бороду,
Зябнет, золотая, на ветру.

Ты знаешь, помнишь: утром алым –
Жар припечёных дрёмой щёк,
И луч – над пьяным одеялом,
И губ не выпавшихся шёлк.

Потом боры нам гимны пели,
Цветы бежали через луг.
О, Боже, как они хотели
Коснуться ног твоих и рук!

И пучеглазые стрекозы,
Смеясь, летели в краснотал.
И тучи били шапки оземь,
И дождь под липами стоял.

Клубилось небо, расступалось,
Смотрелась в лужи синева.
И ты смеялась всё, смеялась –
Ещё со мной, ещё жива...

Смейся всем – ничуть не заревную.
Нет любви. А день суров и сер.
Выпил рюмку, выпью и другую.
Я ведь русский, не какой-то «гер».

У тебя глаза, конечно, вишни.
Как же ты сегодня хороша!
Только смейся, милая, потише,
У тебя ж не пьяная душа.

Ни к чему нам петь и обниматься,
Задыхаясь в страсти гулевой.
Нет любви, так хоть налюбоваться,
Хоть налюбоваться мне тобой.

Я счастлив был. Но разве знал об этом?
Деревня, братья, бабушка, и дед,
И вся родня. В саду плескалось лето.
Запела мама и отец вослед.

Я счастлив был. Друзья мои, подружки,
Я помню и костры, и рюкзаки.
Мы пили пьяный дождь из мятой кружки,
Нам плечи наливали марш-броски.

Я счастлив был. Мы клеили обои.
И медленной улыбкою скользя,
Ты наблюдала, милая, за мною:
Не так, мол, клеишь, пальчиком грозя.

Я счастлив был, а вот не понимал,
Что счастье – это утро, сеновал,
Пылинок танец в солнечных лучах,
Слиянье губ и трепетный очаг,
Подтаявшие звёзды на заре,
Пелёнки на верёвке во дворе
И воробьиный щебет у окна...

А в зеркало вгляделся –
Седина.

Жизнь – обман с чарующей тоскою.

Сергей Есенин

Жизнь листвой роняет лес осенний,
И ледок затягивает пруд.
Без утрат и скорбных потрясений
Почему-то люди не живут.

Ждём чего-то. Разве счастья ищем?
Жизнь – сейчас, грядущее – во мгле.
Ходят, ходят люди по кладбищу,
Ищут своё место на земле.

Для себя желанных ждут и любят,
Потому и холодок в глазах.
На земле находят место люди,
Мало кто находит в небесах.

Жизнь – обман, волнующий и нежный.
Вот шумит, как под окошком клён.
То ударит в грудь метелью снежной,
То весенним плещется огнём.

Жизнь – обман. Но если состраданье
Поит душу, как луга – туман,
Значит, близок ты к любви и тайне,
Значит, жизнь нисколько не обман.

Рождество

От звезды Вифлеемской струится дорога.
На Земле торжество – день рождения Бога.
День рождения каждого, кто родился,
Кто любовью живёт и любовью крестился.
И струится роса от звезды Вифлеемской
По дороге Рязанской, дороге Смоленской,
И – в деревню мою, в мои тёплые сенцы,
И впадает в глаза мои, кровь мою, сердце.
И, впадая, влечёт за собой мою душу.
Вижу маму, крылечко, рябину и грушу.
На берёзе трепещет снегирь, как сердечко,
Юный тополь луны примеряет колечко.
Так иду я, иду этой светлой дорогой
От Руси – до России, от сердца – до Бога.



КРИТИКА

Александр МЕДВЕДЕВ

Знайте, поэзия везде...

Непростая задача встаёт перед автором, намеренным поведать читателю о сокровенных тайнах души или о загадках мироздания, захватить увлекательной историей или поразить лаконичной строфой. Ему придётся прибегнуть к словам. Казалось бы, чего проще, известно, мысль рождается на кончике языка или пера, стоит лишь открыть рот или взяться за письмо...

Мысли всё же редко удаётся в полной мере выразить в слове то, что она хотела бы сообщить, несмотря на её находки, кажущиеся нам яркими, на её неожиданную образность. Слово, даже самое «честное» может обернуться ненадёжным материалом, а то и обнаружить в себе полярные смыслы. Значение слова меняется со временем, его способна изменить или затемнить интонация... Хотя, как ни напиши – «В начале» или «Вначале» – Слово, действительно, остаётся при этом. Но вот вопрос: было ли Оно Началом – которое Безначально? Апостол Иоанн назвал Словом творческое начало в движении Божиим, но что само по себе есть Начало? То есть, что такое Бог?..

На этом вопросе круг замыкается – философский, составленный из несовершенных слов?

Возможно, наше спасение в том, что есть и другой круг – Поэзия, – и он, похоже, не замкнутый.

А разве поэзия пользуется не теми же словами, в которые мы пытаемся облечь наши скромные мысли? В том-то и дело, что она состоит из слов, но из преображённых. Сами по себе слова не более, чем пустые оболочки. Без интонации, без ритма речь есть просто шум, набор звуков. О чём этот шум?

Поэт не просто говорит, он поднимает волну, и она подхватывает отзывчивые души и переносит их в мир Поэзии. Подхватывает и возносит туда, откуда сквозь *быт* прозревается *бытие*, где слово наполняется образом, возможно, дотоле нам неведомым. Это волнение, поднятое



Александр Васильевич Медведев – родился в г. Черняховске. Художник, писатель-прозаик, критик. Член Союза художников и Союза писателей России. Автор ряда книг и многочисленных статей по теории изобразительного искусства и литературе. Лауреат нескольких литературных премий.

Живёт в Санкт-Петербурге.



поэтом, этот импульс несёт в себе, разумеется, и смысл, внятный рассудку, но он лишь один из элементов, составляющих *поэтический смысл*, которым поэт наделяет преображённое слово.

И всё же странно. Странно, что о тайнах поэтического слова так много сказано, а Поэзия до сих пор не в чести у публики. При этом не иссякает поток самых фантастических материалов о Пушкине, Лермонтове, Маяковском, Есенине...

Почему это происходит? Отчасти ответ содержится в письме Артюра Рембо Полю Демени (15.05.1871): «Ясновидцем поэт становится путём продуманного расстройств всех своих чувств. <...> Он становится между людьми великим больным, великим преступником, великим отверженным, – и обладателем величайшего Знания! Ибо он достигает неведомого!»

Приходится признать, что, если бы не воспринимаемые публикой приключенческими, трагические судьбы поэтов, кто бы стал интересоваться их жизнью в первую очередь, и только вдобавок – стихами, и то лишь хрестоматийной их частью.

«Я поэт и тем интересен!» – утверждал Маяковский. Очевидно, он заблуждался, полагая, что публике он интересен как носитель особой поэтической чувствительности, которую выражал в стихах. Судя по продолжающимся множиться биографическим опусам о поэте, оказалось, интересен он не тем, а совсем иным. На него пристальней всего хотят смотреть, как раз не в час, когда он приносил священную жертву Аполлону. Нет, его желают видеть прежде всего «великим больным», наблюдают его, пуская слюни, припавшим к порогу Лили Брик, куда загонял его Приап.

«Если б не был я поэтом, стал, наверно, мошенник и вор» – публике приятно, что Есенин понимал, что от него ждут. «Москва кабацкая», «Барышня и хулиган»...

Публика легко воспринимает поэзию в рифме: поэт – пистолет. Жизнь Пушкина, Лермонтова, Маяковского, да, может быть, и Есенина была прервана выстрелом. Мы привыкли к картинам, которые показывают поэта наиболее красочно в те мгновения, когда «меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он».

Для поэта же «познать себя», значит, безжалостно рассечь себя, разделить в себе, увидеть себя со стороны и оценить. С того времени, как Адам отведал плода с древа познания, началось бесконечное томление разделённого в себе человека: «сотворён по образу Божию» и вдруг – наг, немощен, смертен... Правда, с пониманием человеком своей двойственности родилась Поэзия.

Опасное состояние – поэт. В таинственном гуле слышится ему мировой звук. Что на самом деле слышит он? Действительно ли звуки мира или их отзвуки в его сердце? Поэту дано создавать настроение – особый строй души, созвучный состоянию природы, событию, мечте и молитве. Там, где философу требуется тысячи и тысячи слов, поэт гармонией десятка их добьётся удивительного и убедительного впечатления, найдя всего лишь – образ – отзвук описываемого философом явления. Не случайно первые мыслители и пророки прибегали к поэтическому языку, оформляя умозаключения в более свободные и более интуитивные средства – в напевный говор, да, по сути, в стихи. Сами древние мудрецы говорили, что философское рассуждение хоть и способно в достаточной степени открыть вещи божественные и человеческие, но совсем не имеет собственных выразительных

средств для описания божественного величия. Иное дело метры, мелодии и ритмы, они-то лучше всего достигают истины созерцания божественных вещей.

Поэтов достойных довольно много. Людей, расположенных внимать и понимать их совершенство, меньше, чем хотелось бы. Публика соблазняется именно греховными проявлениями творческого человека. Оно и понятно. Их легче распознать, чем подумать о благодати, снизошедшей на поэта, и о его доброй воле, о добросовестности и необычайной природной силе, об уме и опыте, которыми он отвечает на данный ему свыше дар.

И ещё среди публики, определённо, возникает соблазн: достаточно-де заняться – а что, не о том ли писал Рембо? – «продуманным расстройством всех своих чувств», и тогда чем мы хуже «хулигана Есенина», – накропать бы только что-нибудь. А уж заинтересованные люди найдут, как «сделать биографию нашему рыжему». Благо, рецепт известен, одно из двух: «рыжему» надо быть клоуном либо гражданином. Помните, у Некрасова гражданин вызывает к поэту: «Проснись: громи пороки смело...» Что же, может быть, и таким способом для кого-то откроется путь в Поэзию. Пожелаем им счастливого пути и напомним: «Знайте, поэзия везде, где только нет дурацкой и глумливой ухмылки человека, его утиной рожи» (Лотреамон. Песни Мальдорора (VI), пер. Н. Мавлевич).





ПОЭЗИЯ



Инесса ИЛЬИНА

Инесса Яшиновна Ильина – член МГО Союза писателей России, Союза писателей XXI века, Академии Российской Литературы. Поэт, актриса театра. Автор книг поэзии: «И оживёт мой сон», «Маски». Лауреат различных литературных конкурсов и премий. Кавалер ордена «Трудовая доблесть России» (всероссийного фестиваля патриотической поэзии «Фортост» 2014, 3-е место), награждена медалями: и.м. М.Ю. Лермонтова, А.С. Грибоедова, 55 лет МГО СП России.

Живёт в Москве.



В тот край...

Когда-нибудь

Когда-нибудь вернусь опять,
Туда, где можно не считать
Дней и ночей среди морей,
Где пляж – ничей, и дом – ничей.

Туда вернусь когда-нибудь,
Где всякая тропинка – Путь,
Где можно в сторону свернуть,
И вновь возникнуть где-нибудь.

Где всё равно, и все равны:
Деревья, люди и слоны,
Где бродят розовые сны,
И нет ещё ни чьей вины.

Где ждёт «Желания Трамвай»,
Лишь загадай, лишь помечтай.
Где вечный май рисует рай,
В тот край, где счастья через край.

Аренда

Мы все арендуем у жизни жильё,
Оно не твоё и оно не моё.
Но люди упорно не верят судьбе,
И тащат, и тащат побольше себе.

И вот уже стены трещат от добра:
От книг и вещей, хрустала, серебра.
Но время аренды подходит к концу,
И близится срок возвращенья к Творцу.

Как жаль расставаться с родимым углом,
Но надо прощаться, безжалостен лом:
Кувалдою времени рушится кров
Иллюзий душевных и бранных основ.

И ты изумлённо однажды поймёшь,
Что в мире условны и правда, и ложь.

Удача

Удача – розовая кляча,
притворяющаяся Пегасом.
С ней по жизни плывёшь иначе –
не кролем, а брассом.

Думаешь – повезло, отпускаешь весло,
танцуешь сальсу.
А течение вспять понесло
в темпе вальса.

Удача – синица в руке:
Журавлём обернуться способна,
в небо удрать,
Упустил – не старайся догнать,
Золотая мечта вновь парит вдалеке.

Сокровенные мысли, осмыслив,
придержи при себе –
вверх судьбе.

Жар и лёд

Выпал снег, часы остановились,
Преградила путь весне зима.
Как же злые силы ухитрились
Зимние разграбить терема?

По велению Снежной Королевы
Сыплет град, осколками зеркал.
Может, у кого-то сдали нервы,
Или Тролль коварный правит бал?

Но в высоких сферах поднебесья,
Жар и холод плавя на излом,
Побеждает Свет, и тьмы завеса
Исчезает в воздухе ночном!

Будет, будет у весны победа,
А потом и лето к нам придёт,
Потому что маленькая Герда
Растопила жаром сердца лёд!



ЮБИЛЕЙ

Михаил ОРДЫНСКИЙ-
ДАВИДОВ

К 100-летию поэтессы

Сибирская история Юлии Друниной

Документальная повесть

*Эвакуации тоскливый ад –
В Сибирь я вместо армии попала.
Ялutorовский райвоенкомат –
В тот городок я топала по шпалам...
Шла двадцать вёрст туда
И двадцать вёрст назад –
Ведь все составы пролетали мимо.
Брала я штурмом тот военкомат –
Пусть неумело, но неумолимо.*

Юлия Друнина

Поезд весело катил; громко, звонко и ритмично выстукивая привычную и всем знакомую мелодию на стыках рельсов. С утра мы с внуком Мишей въехали в Сибирь, и розовое солнце радостно приветствовало нас. Мы мчались на свидание с 16-летней Юлией Друниной. Внуку, вымахавшему под 180 см, недавно, как и Юле в далёком 1941 году, исполнилось 16 лет. Он сиял от счастья. Ещё бы – первый раз в **настоящей** Сибири! Ему всё было интересно, и он жадными глазами пожирал окружающий мир через широкое вагонное окно.

– Да какая же вам в Сибири Юлия Друнина?! Она же коренная москвичка! – узнав о цели нашей поездки, хором воскликнули бы советские литературоведы, насмешливо взглянув в наши провинциальные, простые и немного наивные лица.

Да, увы! Многие, очень многие литературоведы и писатели, с которыми мне доводилось беседовать, совершенно не в курсе, что Юлия Владимировна Друнина почти целый год волею судьбы провела в Сибири. Да вот и в биографическом словаре «Русские писатели и поэты», в биографии Ю.В. Друниной ни слова не сказано о её жизни в Сибири¹.



Михаил Иванович Ордынский-Давидов родился 14 января 1954 г. в с. Орда Пермского края. Доцент медицинского университета, к.н. Помимо медицины, 45 лет занимается историей литературы. Член Союза писателей России, автор 12 литературно-художественных книг, 7 документальных повестей о жизни великих писателей «Дуэль Пушкина», «Дело №37», «Бунт души», «Тайна смерти Гоголя» и других, опубликованных в журналах «Москва», «Литературная Пермь», «Урал» и отдельными изданиями, а также многих очерков и статей по истории жизни Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, А.В. Вампилова, П.И. Бажитиона, А.А. Алехина и других выдающихся русских людей, опубликованных в журналах «Великоросс», «Наука и жизнь», «Уральский следопыт» и других. Лауреат премии Лермонтова, кавалер ордена Достоевского.

Живёт в Перми.



Юлия Друнина

Проехали «Тюмень–столицу деревень», и ровная, как стол, низменность предстала перед глазами – даже если бы люди очень постарались, им никогда не удалось бы сотворить подобное. Показался знакомый мне с юности «город декабристов» Ялуторовск. Загромычал мост, по которому мы переезжали гордый, свободолюбивый и величавый Тобол, считающий, как и большинство современных географов, что это не он впадает в Иртыш, а Иртыш, проделавший к месту слияния двух рек меньший путь, вливает свои воды в него.

А далее уже не в Иртыш, а в Тобол впадает «узкая» и менее длинная Обь, и это он, широченный Тобол, щедро вливает свои триллионы кубометров воды в Северный Ледовитый океан.

Между тем, погода резко испортилась. Непонятно откуда появившиеся тучки забродили по небу, которое стало неприветливым, нахмурилось и всё пыталось набросить тёмное покрывало на мчащийся на восток поезд. Солнце уже давно боязливо скрылось. Тревожно и мрачно стучали колёса вагона. Поезд неохотно вкатил в глухой, дремучий сосновый лес. Величавые молчаливые сосны стеной стояли по обеим сторонам железнодорожного пути и угрюмо созерцали загрустивших пассажиров, забившихся в жалкие серо-коричневые вагончики. Мы оказались в настоящей сибирской тайге.

– Вот она, Сибирь! – радостно прошептали Мишины губы.

Через 15 минут среди этой молчаливой угрюмой тайги показались островки жалких домишек в 1, 2 и, реже, 5 этажей, трусливо прижавшихся друг к другу. Чёрно-серые островки домов были зажаты теми же мрачными лесными полчищами сосен-великанов.

Поезд замедлил ход и остановился.

– Заводоуковск, – громко, но равнодушно возвестила проводница. – Да пошевеливайтесь – стоянка всего 2 минуты!

– Ну и глухомань! – выразительно прокомментировал картину за окном наш попутчик по купе, едущий домой до станции Тайга. – Никогда в жизни такого не видел.

Лишь два пассажира вышли из поезда, и вы, дорогие читатели, уже поняли, кто были эти двое несчастных.

Мы одиноко стояли на старом замусоренном перроне, покрытом худым, в выбоинах, асфальтом. Одноэтажное серо-коричневое каменное строение уныло стояло почти прямо перед нами.

«Заводоуковск» – было выбито на здании железнодорожного вокзала, построенного, как я потом узнал, в 1910 году.

Островок города диаметром в 1-1,5 км, в центре которого находилась железнодорожная станция, со всех сторон был стиснут сосновым лесом. В сосновых «стенах» были, однако, просветы, через которые можно было издали увидеть другие районы городка, окружённые такими же сосновыми борами.

Между тем, огромная чёрная туча зловеще нависла над нами и над всем «Тайгоградом». Она гневно сверкнула молнией и стала мочиться противными мутными струйками, пытающимися просочиться за шиворот.

– Шухер! Бежим! – выкрикнул Миша, и первым рванул с места.

Мы влетели в помещение вокзала за пару секунд до того, как огромные потоки воды с неба ринулись в атаку на городок.

В старинном зале ожидания, которое тщетно пытались осовременить «отцы» города, закрывая старину шаблонной безвкусицей из дешёвых недолговечных нынешних материалов, народу набилось немислимо много для такого небольшого помещения. Было жарко, влажно и душно.

– Скоро пойдёт «барыга» на Тюмень, – объяснила столпотворение людей одна из толстых тётушек неопределённого возраста, лущая семечки и смачно выплёвывая их прямо на каменный пол. «Барыгой» все жители Тюменской области называют пригородные поезда; если вы попросите билет на «электричку», вас никто из кассиров просто не поймёт.

К слову, язык местных сибиряков своеобразен. Полицейского они называют не «мусором», а, уважительно, – «мильтоном» (производным от милиционера), «новых русских» – «чубайсиками» и «гайдарчиками», политиков типа Жириновского, торчащих в телевизоре, – «сороками»; страну, расположенную западнее Урала, величают «Россией», себя, очевидно, к ней не причисляя, всякий раз подчёркивая: «У нас тут – Сибирь!» В этом обособлении содержится и чувство гордости, особенности и уникальности, и, в то же время, несогласие с навязываемой из Центра, столицы, линией на второсортность, провинциальность людей из Сибири и Урала.

А дождь всё лил и лил. И я, сидя в зале ожидания вокзала, вдруг озарился мыслью, что именно здесь, в этом старом помещении, много раз сидела и Юля Друнина. Нередко она бывала и на самом перроне, и прямо по шпалам с этой железнодорожной станции отправлялась в дальний путь в Ялуторовский районный военкомат.

Мы с Мишей пару недель назад из Перми уехали в Москву, где я сидел в центральных библиотеках и архивах, настойчиво ведя поиски материалов и документов о жизни Юлии Владимировны Друниной, а вместе мы активно посещали известные места её столичной жизни: дом напротив здания Моссовета (Правительства Москвы), где она жила в детстве; школу №131, в которой училась; станцию метро «Маяковская», в которой она в начале войны дежурила в бомбоубежище; здания РОККа (Районного Общества Красного Креста) у Никитских ворот и Литинститута (дом №25 на Тверском бульваре). Побывали мы и у многоэтажного дома в Малом Демидовском переулке вблизи Курского вокзала, и на улице Красноармейской, где в доме №23 она жила после войны. На электричке не поленились мы съездить в Можайск, пытаясь в окружающих лесах почувствовать дух Великой Отечественной войны периода сентября-октября 1941 года, где Юля получила боевое крещение; и, конечно, не смогли проигнорировать Бородинское поле, прошагав по нему в ясный солнечный день более 15 км (не стоит забывать, что не только 1812-м годом гордится это знаменитое поле сражений, но и хорошо помнит кровопролитные бои осени 1941 года).

Жили мы у моей старшей сестры Любы в Подмоскovie, на улице Корнеева в городе Домодедово (не путайте с одноимённым аэропортом!), и вечерами втроём оживлённо обсуждали детство Юли, проведённое в Москве.

В памяти до сих пор остались эти бурные вечерние обсуждения. Я был настроен восторженно и романтично, боготворя Юлю, считая её образцом Человека и женщины. Миша, как типичный современный молодой человек-нигилист, воспитанный учителями школы и гипнотизёром-телевизором в духе ельцинишек и чубайсиков, первоначально нередко занимал противоположную, критиканскую позицию. А Люба нас мирила, выправляла и сближала наши позиции, рассуждая с точки зрения здравого смысла и человека, умудрённого жизненным опытом. Этим летом мы ещё встретимся с ней в Ялуторовске, где она имеет половинку квартиры, и продолжим наши беседы.

Обращаясь к читателю, замечу, что, на мой взгляд, детство Юли было трудным, но ярким и насыщенным, а воспитание семьёй, школой и обществом – правильным, ненавязчиво приводящим к рождению **Настоящего Человека** – честного, скромного, чистого душой, трудолюбивого, готового отдать жизнь за родных и близких, за свою Родину, т.е. **патриота** до мозга костей. И, немало сталкиваясь с представителями того поколения, я свидетельствую: такие люди, как Юлия Друнина, были не исключением, такими морально чистыми людьми и патриотами были многие-многие тысячи российских мужчин и женщин довоенного и военного поколений.

Официальной датой рождения Юлии Владимировны Друниной является 10 мая 1924 года. Часть литературоведов предполагает, что она родилась ровно на год позже. И для этого есть веские основания. В ряде разделов своих воспоминаний Юлия Владимировна пишет, что ей при таких-то и таких-то событиях было 16, 17, 19 лет, хотя, если исходить из официальной даты рождения, то получается, что ей в указанные периоды было соответственно 17, 18 и 20 лет. В воспоминаниях о сибирском периоде жизни она роняет фразу, что её тогда вдруг осенила идея прибавить себе один год, чтобы поскорее попасть на фронт. Однако довоенные документы Юли не сохранились, а абсолютно все военные и послевоенные «бумаги» официально свидетельствуют, что она родилась именно 10 мая 1924 года. Все прижизненные юбилейные мероприятия, посвящённые Ю.В. Друниной (50, 55, 60 и 65 лет), были проведены писательскими организациями, государственными органами, а, главное, **ею лично**, исходя из этой даты. Поэтому мы не имеем морального права нарушать эту традицию и сейчас – к 100-летию поэтессы.

Современных многостраничных, с плотными корочками, красивых паспортов тогда не было. Удостоверения личности в отдельные довоенные и военные годы являлись потёртым листом бумаги с текстом, отпечатанным на машинке. Известно, что к началу Великой Отечественной войны Юля ещё не имела паспорта. Важным и самым дорогим для неё документом, который Юля всегда имела при себе, был комсомольский билет. Но в нём указывалась дата вступления в ВЛКСМ, а год рождения тогда не приводился. Возможно, Юля прибавила себе год жизни, когда в Москве в августе 1941 года вступала добровольцем в ряды санитарной дружины РОККа (Районного Общества Красного Креста). У меня есть и ещё одна версия времени события. В автобиографическом очерке «С тех вершин» Ю.В. Друнина пишет, что во время первого пешего перехода по шпалам из сибирской Заводоуковки в Ялуторовский райвоенкомат её «осенила гениальная идея

потерять паспорт (пусть попробуют затребовать дубликат из прифронтовой Москвы!) и прибавить себе годик»².

Юля родилась в Москве, и семья её проживала в самом центре столицы. Таким образом, она являлась коренной москвичкой.

Отцом её был учитель истории московской школы №131 Владимир Павлович Друнин (1879-1942). У отца это был уже второй брак. Первую жену он обожал и носил на руках. Однако она умерла от чахотки (туберкулёза лёгких). Будучи уже не очень молодой женщиной, он женился во второй раз, на молоденькой симпатичной девушке, которая была моложе его на 21 год! Когда Юля родилась, а она была единственным ребёнком в семье, Владимиру Павловичу было уже 45 лет, а его жене едва исполнилось 24. Безусловно, отец для такой умной и талантливой девочки, как Юля, являлся гораздо более авторитетным родителем.

Владимир Павлович был отличным педагогом, прекрасно разбирающимся в истории, которую преимущественно преподавал. Но он неплохо знал физику и литературу, которые тоже мог преподавать в школе. Писал хорошие стихи, в молодости мечтал стать профессиональным поэтом. Однако маститые литераторы «не пустили» его в свои ряды, литературные журналы не опубликовали ни одного из его стихотворений, отчего он считал себя неудачником. К началу войны Друнин перешёл на работу учителем истории в 1-ю Московскую спецшколу ВВС. К моменту рождения Юли Владимир Павлович уже страдал ишемической болезнью сердца. От малейших переживаний у него возникали боли за грудиной. Юля всегда переживала за его здоровье и очень его любила. Несомненно, что поэтический дар она по наследству получила от отца.

Мамой её была Матильда Борисовна Друнина (1900-1983). Она вначале преподавала немецкий язык в школе, затем давала уроки музыки на дому, а к началу войны и затем в эвакуации работала библиотекарем. Юля маму, конечно же, любила и уважала. Но любовь к доброму, талантливому, удивительно душевному отцу была намного сильнее. Она его буквально боготворила.

Многие авторы стандартно и заученно пишут, что Юля жила-де в обычной коммунальной квартире. Это не совсем так. Семья Друниных обитала в знаменитом доме, в котором до Советской власти размещалась гостиница «Дрезден», номера которой, между прочим, снимали Антон Чехов и многие другие знаменитости. После революции гостиницу превратили в жилой дом. Квартиры там были отдельные, небольшие, но чистые и уютные. Неудобство было лишь одно – общий туалет в конце длинного коридора.

Этот дом располагался почти напротив здания Моссовета (ныне – Правительств Москвы). Безусловно, это место являлось одним из центров столицы. Рядом шла Тверская улица, которая вначале являлась довольно узкой и была расширена только к концу 1930-х годов. Дома выходили на Советскую площадь (ныне – Тверская площадь), где стояла статуя Свободы (в 1947 году статую снесли, а на площади установили величественный памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому).

Во времена детства Юли этот центр столицы был иным, нежели сейчас. Тверская улица была узкой, шириной не более 20 м, машины по ней проезжали достаточно редко. Дети, «как угорелые», бежали по своему дому, длинным коридорам, лихо спускались «верхом» по лестничным перилам; на Тверской улице и Советской площади свободно играли в «казаков-разбойников»,

прятки. Юля росла достаточно бойкой и смелой, но вежливой и воспитанной девочкой.

В 4 года (!) Юля самостоятельно выучилась читать. И чтение стало для девочки настоящей страстью, как она выразилась – «самым захватывающим счастьем».

Ох, это «сумасшедшее чтение запоем!»! Мать строго говорила ей: «Хватит портить глаза!» А она всё читала и читала: дома, на подоконнике в коридоре, в полутьме под лестницей, ночью тайком с фонариком под одеялом, в школе на уроках, держа книгу под партой.

Увы! Из-за ельцинишек и гайдарчиков и их последователей Россия сегодня издаёт очень мало книг, да и те молодежь читает плохо, в отличие от китайцев, французов, немцев, англичан, испанцев, итальянцев, датчан. Давно уступили мы пальму первенства самой читающей страны мира. А народ «нечитающий» обречён на отставание в науке, технике, промышленности, искусстве и просвещении! Пресловутый Интернет – это лишь «мусорная корзина», перелистывание картинок, создающее поверхностные неполные знания, иллюзия образованности.

И всё же интересно, что читала московская девочка Юля?

Первыми её книгами стали сказки и стихи Пушкина, произведения Гооголя и, как ни странно, «Одиссея» Гомера, прочитанная ещё в дошкольном возрасте. Оглушительное впечатление на девочку произвели сентиментальные повести Лидии Чарской, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Алые паруса» Грина, произведения Майн Рида, стихи Есенина. Как хорошо, что чистые души и светлые умы детей в то время не были замутнены «произведениями» Солженицына, Дмитрия Быкова, Улицкой, Войновича, потоком «женских» и сексуальных романов начала XXI века.

В центре Москвы располагается очень известная и престижная 131-я средняя школа. В ней училось много знаменитых людей. Юля попала в неё без всякого блата – её определили туда с учётом места жительства. Но целый год она не «догуляла» на воле, беззаботно бегая по Советской площади и Тверской улице. Родители отдали её в школу в 6 лет и 4 месяца (из-за этого и школу она закончила не в 17 лет, как все одноклассники, а в 16).

В 131-й школе уже давно работал учителем истории её отец, Владимир Павлович, а мать после перерыва устроилась работать в эту же школу библиотекарем. «Родителям было проще иметь меня перед глазами, чем оставлять одну дома», – так объясняла впоследствии Ю.В. Друнина своё раннее начало школьного образования.

Она была определена в 1-й «К» класс, куда по своеобразному «научному» конкурсу попали самые «неспособные» дети. И немудрено: она ведь была на целый год младше всех дошкольников-«конкурсантов», которых заставили что-то рисовать и клеивать.

Очень трудно школьнице Друниной давались точные науки, особенно математика. Бывало, что уже будучи взрослой, вернувшись с фронта, она просыпалась ночью от кошмарного сна: ей снилась контрольная по математике!

Но зато «лирические» предметы – русский язык, литература, история, а позже философия – были её «коньком».

С 9 лет поэзия захватила всё существо этой скромной, мечтательной девочки со светлыми золотистыми волосами и голубыми глазами.

«И никогда я не сомневалась, что буду литератором. Меня не могли поколебать ни серьёзные доводы, ни ядовитые насмешки отца, пытающегося

уберечь дочь от жестоких разочарований. Он-то знал, что на Парнас пробируются единицы. Почему я должна быть в их числе? – писала впоследствии Ю. Друнина. – После того, как я напечатала в классной стенгазете стишки, начинающиеся строками “В третьем «К» не все в порядке, не обёрнуты тетрадки”, слава поэта прочно утвердилась за мной в школе... Эпигонский период, обязательный, вероятно, для каждого стихотворца, я прошла в школе. В эти годы я писала о любви (преимущественно „неземной“), о природе (в основном экзотической) и вообще о всевозможных высоких материях. Замки, рыцари, Прекрасные дамы вперемешку с ковбоями, лампасами и кабацкими забулдыгами (коктейль из Блока, Майн Рида и Есенина) мирно сосуществовали в этих ужасных виршах... Правда, очень скоро зазвучала новая нота – ностальгия по романтике Гражданской войны: „Эх, деньки горячие уплыли, не вернутся вновь. Помню, как адела в белой пыли молодая кровь”. По поводу этих строчек литконсультант Центрального дома художественного воспитания детей написал мне, что незачем, мол, тосковать по времени, когда ручьём лилась кровь... Он был совершенно прав, только не учитывал той детской жажды подвига, которая жила во мне, как и во многих моих сверстниках»³.

Благодаря правильному воспитанию и чистоте неиспорченной, незамутнённой души, Юля с отрочества была очень патриотична.

В 1936 году она близко к сердцу принимала события в Испании. Фашистский мятеж, Республиканцы, интернациональные бригады – всё это волновало её и переплавлялось в стихи – ещё неумелые, но патриотичные, идущие от самого сердца.

«В тридцать восьмом году Центральный дом художественного воспитания детей объявил конкурс на лучшее стихотворение, – продолжает вспоминать Ю.В. Друнина. – Посланные мной стихи были посредственными, но сейчас они поражают меня точным предчувствием своей судьбы, судьбы своего поколения:

*Мы рядом за школьную партой сидели,
Мы вместе учились по книге одной,
И вот в неотглаженной новой шинели
Стоишь предо мной.
Я верю в тебя, твоей воли не сломишь,
Ты всюду пробьёшься, в огне и дыму.
А если ты, падая, знамя уронишь,
То я его подниму.*

Стихотворение напечатали в «Учительской газете», передали по радио. Известная журналистка Елена Кононенко специально пришла в школу, где я училась, а потом посвятила мне целый абзац в своей статье... Я не сомневалась, что на конкурсе буду победителем. И вдруг – щелчок по носу: я вообще не получила никакой премии... А первое место занял Серёжа Орлов, паренёк из провинции. Так впервые пути мои перекрестились с большим поэтом Сергеем Орловым, ставшим мне через много-много лет близким другом»⁴.

...Я, отвлечённый от своих дум о детстве московской школьницы Юли посторонним шумом – всеобщим возгласом негодования, когда объявили, что «барыга» опаздывает, окинул взором зал ожидания Заводского вокзала и удивился материальному достатку сегодняшних

«провинциалок» – красивые и дорогие маечки, платица, костюмчики и туфельки девочек; золотые кольца, цепочки и серьги, сверхмодные заграничные наряды у девушек и молоденьких женщин.

Семья Друниных, как и многие московские семьи довоенных лет, жила бедно. Но Юля не обращала на бедность никакого внимания, как она пишет, «не замечала этого». Последние 3-4 дня до получения зарплаты в семье не оставалось ни единого рубля, и они «сидели на одной пшённой каше», которую поедали даже без хлеба. Как с юмором замечает Юля, «запасы этой крупы сохранились у родителей, по-моему, ещё со времён Гражданской войны»⁵.

Представьте только: у отца, жителя центра столицы, учителя элитной школы, никогда не было костюма! Юля помнит, что он все годы ходил в одной и той же потёртой вельветовой толстовке и имел только одно пальтецо, которая жена называла не демисезонным, а «семисезонным». Только перед самой войной, став преподавателем Московской спецшколы ВВС, он стал обеспечиваться казённым добротным лётным обмундированием. Сама Юля никогда не имела больше двух дешёвых платишек, чаще всего ситцевых. Но она нисколько не переживала по поводу бедности. Она даже не задумывалась об этом. Семьи всех её школьных друзей и подруг жили так же скромно. Люди довоенного поколения не только не стремились к «вещизму», они презирали его. В человеке они ценили духовность, знания, трудолюбие, честность, правдивость, бескорыстие, способность к дружбе, желание помочь людям в беде.

И все эти качества были в полной мере присущи москвичке Юле. Многие из её друзей по школе и дому, их родители, соседи, жители окрестных домов восхищались ею и любили её.

У неё с отрочества было прозвище «Друня». Так звали её все подруги, одноклассники, соседи по дому, знакомые. Конечно, это прозвище было производным от её фамилии – Друнина. Но слово «Друня» так точно и верно отражало её облик и душевные качества, что прочно «приклеилось» к ней и затем преследовало её всю последующую жизнь: при службе сандружинницей в РОККе, при рытье окопов под Можайском, в эвакуации в Заводуковке, во время службы в действующей армии, при учёбе в Литинституте и после, когда она считалась уже профессиональной поэтессой.

Юля умела дружить и была настоящим, преданным другом, всегда готовым прийти на помощь человеку, попавшему в беду.

Ещё в начальной школе её сильно побил крепкий и рослый сын соседней Петька. Они из-за чего-то подрались, но Петька не учёл, что перед ним – маленькая девочка. Мать наехала на дочь, потребовала назвать обидчика. Юля долго и упорно молчала, но невзначай всё же назвала имя мальчишки. Петьку выпорол его отец-пьяница. Юля очень сильно переживала за проявленную минутную слабость. И дала себе слово никогда и никому не выдавать ни друзей, ни провинившихся в чем-то людей. И за всю последующую жизнь ни разу не нарушила данной клятвы.

Позднее Ю.В. Друнина описала этот случай в стихотворении для детей, назвав (незаслуженно!) свой поступок «предательством»:

*В каком это было классе?..
Я навзничь лежу в постели –
Петька мне нос расквасил
В рыцарской честной дуэли,*

*Рядом мамаша квохчет:
– Кто этот хулиган?
Кто тебя эдак, дочка?
Я уж ему задам!*

*Ну, не молчи, ответь-ка! –
Дергая хвостик банта,
Я выдала взрослым Петьку –
Честного дуэлянта...*

*...Шёл Петька... вернее, его вели...
Был он, как мой укор,
Был он, как мой позор,
Замер наш буйный дворик.
Я поняла с тех пор,
Как вкус предательства горек.*

В фамилии Друнина ясно и отчетливо слышится слово «друг». Характер и душевные качества Друниной полностью соответствовали её фамилии. У нее была постоянная готовность выручить, прийти на помощь. В войну в батальоне все солдаты и офицеры называли её не по фамилии, не по званию (старшина), не по имени, а именно так – «Друня».

Интересно, что слово «Друня» – уменьшительная форма от древнеславянского имени «Дружина».

Юлия Владимировна в 1972 году сочинила замечательное автобиографическое стихотворение «Друня», где есть такие строки:

*Пролетали, как миг, столетья,
Царства таяли, словно лёд...
Звали девочку Друней дети –
Шёл тогда сорок первый год.
В этом прозвище, данном в школе,
Вдруг воскресла святая Русь,
Посвист молодца в чистом поле,
Хмурь лесов, деревенек грусть.
В этом прозвище – звон кольчуги,
В этом прозвище – храп коня,
В этом прозвище слышно:
– Други!
Я вас вынесу из огня!*

*Пахло гарью в ночах июня,
Кровь и слёзы несла река,
И смешливо, и нежно «Друня»
Звали парни сестру полка.
Точно эхо далёкой песни,
Как видения, словно сны,
В этом прозвище вновь воскресли
Вдруг предания старины.
В этом прозвище – звон кольчуги,
В этом прозвище – храп коня,
В этом прозвище слышно:*

– Други!
Я вас вынесу из огня!

К началу Великой Отечественной войны Юле было только 16 лет. Но она, благодаря правильному воспитанию родителями, школой и обществом, а также самовоспитанию, уже сформировалась как честный, духовно чистый, порядочный, смелый и волевой человек, патриот, готовый к подвигу, к защите Родины. Патриотизм, любовь к Отечеству стали органичной, неотъемлемой составной частью её сформировавшейся личности.

Я много размышлял об этих качествах Юлии Друниной, невольно сравнивал её с девушками и молодыми женщинами, которых мне довелось близко знать в своей жизни. Мне повезло: встречались среди них и такие, которые по духу и характеру были близки к Ю. Друниной – моя покойная жена медсестра Елена, некоторые другие врачи и медицинские сёстры, обе дочери, племянница Светлана Чистякова. И всё же современные девушки и молодые женщины – студентки, врачи, медсёстры и представители иных, не медицинских, профессий, как правило, не являются образцом честности, нравственной чистоты и патриотизма. Юлия Друнина выглядела бы среди них «белой вороной». Особенно сильный удар по патриотизму и нравственной чистоте нашего молодого поколения произвели капитализация российского общества и навязываемые сверху либерализация, «демократизация» и поворот к западным «ценностям».

Каковы истоки и главные причины патриотизма Юлии Друниной?

Ответ на этот вопрос я нашел в её стихах и, особенно, в воспоминаниях. Ю.В. Друнина пишет:

«Понятия „вещизм“ тогда вообще не существовало, быт как-то не замечался... Спасение челюскинцев, тревога за плутающую в тайге Марину Раскову, покорение полюса, Испания – вот чем жили мы в детстве.

Удивительное поколение! Вполне закономерно, что в трагическом сорок первом оно стало поколением добровольцев...

Детская жажда подвига жила во мне, как и во многих моих сверстниках...

Оглушительное впечатление от повестей Лидии Чарской!.. Есть, по видимому, в Чарской, в её восторженных юных героинях, нечто такое – светлое, благородное, чистое, – что трогает в неискушённых душах девочек (именно девочек) самые лучшие струны, что воспитывает в них самые высокие понятия о дружбе, верности и чести. И как это ни парадоксально, в сорок первом в военкомат меня привёл не только Павел Корчагин, но и княжна Джаваха – героиня Лидии Чарской»⁶.

В 1941 году Юлия считала, «что прикрыть Родину в этот час можно только собой». И добавляла: «Я никогда не прощу себе, если проведу войну в тылу»⁷.

21 июня 1941 года в московской школе №131 радостно, весело и шумно, с танцами и песнями, отгремел выпускной вечер. Юлия Друнина, которой к этому времени было 16 лет и 1 месяц, успешно, с хорошими и отличными оценками, закончила школу. После выпускного всем классом беззаботно гуляли по Красной площади, улицам столицы, набережной Москвы-реки. По уже заведённой традиции встретили рассвет. Юля в окружении друзей и

подруг выглядела радостной и счастливой. Багровое солнце медленно поднималось на горизонте, выкатилось из-за тёмных домов и кровавым красным светом начало освещать лица выпускников, большинство из которых родились в 1924 году. Почти все они, включая многих девушек, испытают ужасы фронта, а, по официальной статистике, только 3% призывников 1924 года рождения доживут до победного мая 1945 года.

В полдень В.М. Молотов по радио объявил о начале войны, ставшей самой жестокой и кровопролитной за всю многовековую историю нашего Отечества.

Московская 16-летняя девочка, едва успевшая получить аттестат о среднем образовании, услышав по радио страшную весть, немедленно прибежала в военкомат. Вот как она объясняет свой благородный, патриотический, но достаточно наивный поступок:

«Когда началась война, я, ни на минуту не сомневаясь, что враг будет молниеносно разгромлен, больше всего боялась, что это произойдёт без моего участия, что я не успею попасть на фронт.

Страх „опоздать“ погнал меня в военкомат уже 22 июня, но проклятая застенчивость заставила в ответ на раздражённый вопрос усталого военкома: „А тебе, девочка, что здесь нужно?“ – спешно ретироваться. Ведь я чувствовала себя жалкой просительницей – до совершеннолетия не хватало, увы, целых двух лет»⁸.

Как видим, Юля честно признаётся, что 22 июня 1941 года ей было всего лишь 16 лет, а девушек в действующую армию могли призвать только в 18 лет.

По совету отца, сочувствующего стремлению дочери помогать фронту, Юлия Друнина устроилась в глазной госпиталь, располагавшийся тогда на улице Горького (ныне – Тверская). Её приняли с распростёртыми объятиями, ибо санитарок не хватало. Юлия, не имевшая специального медицинского образования, юридически пока не могла работать сестрой милосердия.

В боевой кинохронике Юля увидела юных дружинниц в красивых комбинезонах, под огнём оказывающих медицинскую помощь и перевязывающих раненых. И моментально загорелась идеей вступить в санитарную дружину. В августе она без особых препятствий записалась в добровольную санитарную дружину при РОККе – Районном Обществе Красного Креста, штаб которого располагался в доме у Никитских ворот. Девушек – добровольцев переодели в тёмно-синие комбинезоны с красным крестом на рукаве, по ускоренной программе обучили навыкам оказания первой медицинской помощи. Способная Юля, всё схватывавшая на лету, быстро постигла азы десмургии – науки перевязывания раненых.

Сандружинницы дежурили, чаще всего ночами, в помещении РОККа у Никитских ворот, на станции метро «Маяковская», превращавшуюся ночью в громадное бомбоубежище. Часто их перебрасывали к домам, повреждённым при авианалёте, для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Глубоко в память бывшей школьницы врезался один из первых ночных массированных налётов бомбардировщиков на Москву. Юля в ту ночь не дежурила, тревожно спала дома. Вдруг раздался чудовищный грохот, дом покачнулся. Мощная бомба попала в соседнее здание. Все жильцы в ужасе выскочили на улицу. Со сна и Юля в первые минуты была напугана, возбуждена. Мать её что-то со страхом кричала. Первое, что заметила Юлия

в клубах медленно рассеивающегося дыма и оседающей пыли, – странно изменившийся памятник Тимирязеву – великий учёный был без головы. На улице и на развалинах разрушенного дома лежали убитые, со всех сторон стонали и звали на помощь раненые. Юля очнулась от шока, бросилась к лежащей недалеко женщине, вся голова которой была окровавлена. Но сандружинница, похоже, ещё не полностью отошла от стресса; пытаясь дрожащими руками сделать «шапку Гиппократата»⁹, она с ужасом поймала себя на том, что кладёт вату не на слой бинтов, а прямо на необработанную рану головы. Но Юля быстро взяла себя в руки, умело перевязав несколько десятков раненых мирных граждан.

– Друня, тебя Райка зовёт, – сообщил ей однажды соседский мальчишка.

Комсомолка Райка, подруга по былым детским играм, тоже была патриоткой. Несколько недель назад она записалась на рытьё окопов в район Смоленска. Окопники едва не попали в окружение. Рая заболела воспалением лёгких и, с трудом добравшись до Москвы, сейчас в тяжёлом состоянии лечилась у себя дома. Друню поразило вид подруги: Райка почернела, усохла, у нее по-старушечьи опустились уголки рта. Какой-то совсем другой – незнакомый, взрослый, потрясённый человек смотрел на Юлю из глубоко запавших глазниц.

Задав несколько вопросов, Райка недобро усмехнулась и пересохшими воспалёнными губами едко сказала:

– Неплохо ты окопалась в тылу!

Эти слова обожгли душу Друни.

– Ты не права, Рая. Я – сандружинница, перевязываю раненых, спасаю им жизнь. А твоё рытьё окопов – тяжёлая и скучная работа. И ненужная.

– Почему же ненужная, Друня?

– Скоро мы будем бить врага на его территории!

– Наивная ты дурочка! Начиталась сказочек из газет. Война будет долгой! Знаешь, сколько у фрицев танков, самолётов! Когда ты увидишь живых немцев – опишься. Это – волки, они убивают всех подряд – мужчин, стариков, детей. А всех женщин насилуют, отрезают им груди. Фашисты считают, что русских не должно быть на Земле, нас всех нужно истребить... Противотанковые траншеи, Друня, нужны, чтобы задержать танки, которые колоннами прут на Москву. Поняла?

Слова Райки обидели Друню. Она моментально решила отправиться на рытьё противотанковых траншей и уже через три дня поехала с группой москвичей своего района на строительство оборонительных сооружений. Среди окопниц были и знакомые девочки с Тверской улицы.

Грузовики-«полуторки» довезли новоиспечённых окопниц до Можайска. Было начало сентября. Под холодным дождём рыли окопы и противотанковые траншеи тысячи людей – в большинстве женщины и подростки. Юля получила лопату и с энтузиазмом принялась за работу. Но у неё, худющей московской девчонки, никогда не выполнявшей тяжёлой физической работы, уже через полчаса на руках образовались кровавые мозоли. Но она не бросила лопату и, морщась от боли, продолжала тяжёлую земляную работу.

Достаточно часто раздавался истошный крик: «Воздух!» Все бросали лопаты и скрывались в специально отрытых щелях. Но паники не было – привыкли окопники к налётам стервятников с чёрными крестами.

Два раза в день в бидонах привозили остывшую похлёбку, спали в холодных сараях на земле. Однако никто не жаловался.

Через несколько суток работы среди ночи по тревоге подняли дивизию народного ополчения, которая вначале тоже строила здесь оборонительные сооружения.

«Я старалась быть поближе к ополченцам, и они скоро стали принимать меня за свою, – вспоминала Ю.В. Друнина. – Тем более, что я ходила в синем комбинезоне, прихваченном из сандружинины, и повязкой с красным крестом на рукаве. Поэтому, когда среди ночи ополченцев подняли по тревоге, я, никого не спрашивая, присоединилась к ним... Немцы прорвали фронт под Вязьмой»¹⁰.

Так в начале сентября 1941 года Ю.В. Друнина совершенно добровольно, абсолютно никого не спрашивая, присоединилась к Красной Армии и вскоре получила первое боевое крещение.

Сначала она вместе с бойцами двигалась на запад по лесной дороге в колонне с дивизией ополчения. Дивизия попала под плотный миномётный огонь. Ю. Друнина перевязывала раненых, выполняя функции сандружинницы. В ходе боёв в лесах она потеряла своих и вскоре оказалась в расположении пехотного полка. Командир батальона оставил её в своём подразделении, назначив временно батальонным санинструктором, ибо ни одного медицинского работника в батальоне уже не осталось в живых. Удивительно, но она, 16-летняя девочка, стала единственным медицинским работником на весь пехотный батальон! И Юля успешно справлялась со своими обязанностями, оказывая под огнём медицинскую помощь раненым, перевязывая их.

В конце сентября их дивизия оказалась в кольце, разрозненные части её с боями выходили из окружения. Это был один из самых критических и жутких периодов, перенесённых Юлией Друниной в течение всей войны. Позже она вспоминала:

«Меня спасло то, что я не отходила от комбата. В самом безнадежном, казалось бы, положении он повёл батальон на прорыв. Двадцать три человека вырвались из окружения и ушли в дремучие Можайские леса.

Через три года, на госпитальной койке, я напишу длинное вялое стихотворение о том, как происходил этот прорыв. Начиналось оно так:

«В штык!» – до немцев двадцать-тридцать метров.

Где небо, где земля – не разберешь.

«Ура!» – рванулось знаменем по ветру.

И командир наш первым вынул нож.

И ещё пятьдесят строк. В окончательном варианте я оставила лишь четыре:

Я только раз видала рукопашный,

Раз – наяву и сотни раз – во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне»¹¹.

Эти четыре строчки поэтессы Юлии Друниной обессмертили её имя, их знают сегодня все патриоты России и многие любители поэзии в других странах мира.

Окончательно из окружения вышли только 11 октября, потеряв комбата – человека, ставшего для 16-летней Юли очень дорогим. При разрыве мины, осколком которой убило комбата, Юля получила свою **первую контузию**, правда, не очень тяжёлую, и смогла двигаться дальше. В том месте, где они, окруженцы, вышли к Можайску, вообще не оказалось никакого переднего края. Фронт был оголён. А руки фашистам связывали дерущиеся в окружении дивизии.

Оборонные работы под Можайском с лихорадочным рытвём траншей женщинами, подростками и стариками, продолжались. Боевых товарищей Юли повели в военную комендатуру – выяснить личности. Друнина боялась комендатуры, поскольку ей было трудно объяснить, как она оказалась в окружении. «Ещё примут сгоряча за шпионку!» – мелькнула в её мозгу мысль.

Однако ей было только 16 лет, у неё был вид худенькой девочки, а форма (комбинезон сандружинницы) – гражданская. Поэтому особисты не обратили на неё внимания, и она тихонько-тихонько, боком-боком оказалась в сторонке и вернулась на окопы.

А там уже стояли готовые к отъезду «полуторки» – несовершеннолетних приказали, учитывая военное положение, срочно отправить домой, в Москву.

В одном из грузовиков Юля увидела «стайку своих подружек по казкам-разбойникам». Они её сначала не узнали – так она почернела и осунулась за время окружения.

– А, Друня! Здравствуй! – наконец, поприветствовали они её, заахали, заохали, сочувствуя её внешнему виду. Ещё бы – человек не мылся и голодным скитался по лесам более месяца!

– На днях приезжал твой папа. Он тебя, Друня, потерял. Пятнадцатого он эвакуируется со спецшколой. Привёз тебе тёплые вещи. Ты извини, мы их без тебя носили – холодно! Сейчас вернём.

Друня махнула рукой – «оставьте себе» – и ловко влезла в кузов машины, которая через три часа въехала в суетящуюся, объятую тревогой столицу...

А очнулся от шума и грохота в зале ожидания Заводоуковского вокзала. Мои мысли о Друниной сразу прервались, и из московской военной осени 1941 года я мгновенно перенёсся в провинциальный сибирский городок XXI века.

Толпа людей, обгоняя и толкая друг друга, двинулась к выходу на перрон. Люди, нарушая все правила, от вокзала прямо по рельсам и шпалам валили к третьему пути, где чёрно-серою шумливую толпой вскоре сгрудились на узкой, длинной, неасфальтированной полоске земли между грязно-пыльным составом с цементом и рельсами 3-го пути. Подошла, предупреждая самых бесшабашных и неосторожных людей грозным гудком, «барыга» «Вагай-Тюмень». Бесцеремонно расталкивая друг друга, пассажиры, крича, возмущаясь, ойкая, пища, голоса и ругаясь, полезли по очень крутым ступеням вверх, в узкие двери пяти вагонов. Ровно через минуту (я засёк по часам с секундной стрелкой) перрон опустел, и поезд, мягко тронувшись, заторопился в 100-километровый путь до Тюмени.

В это время мы с Мишей уже стояли на виадуке – пешеходном переходе над железнодорожными путями.

На другой стороне от железнодорожного вокзала, к северу от него, с виадука мы увидели ещё один островок городка, диаметром около 1 км, окружённый с трёх сторон всё такими же вековыми соснами, а с четвёртой, нашей, стороны – железнодорожными путями и вокзалом. Среди зданий в этой северной части города преобладали одноэтажные старые деревянные домишки, некоторые – с почерневшими стенами. Отдельные предприимчивые жители схитрили: старые дома с полусгнившими брёвнами снаружи обили современными красивыми разноцветными материалами. И таких внешне красивых домиков было достаточно много; но опытный глаз сразу различит фальшь такой красочной наружной отделки старого деревянного дома, которому, наверное, не менее 80-100 лет. Виднелись и единичные современные богатые каменные и кирпичные коттеджи.

Я уже знал, что в этой части городка на частных квартирах осенью 1941 года разместили семьи преподавателей 1-й Московской спецшколы ВВС, в т.ч. и семью В.П. Друнина. Но пока нам рано было идти в этот район, разросшийся в довоенные и военные годы, ибо я сначала хотел понять для себя, как же Юлия Друнина, уже побывавшая на фронте и понюхавшая порошу, мечтавшая защищать Родину «своей грудью», вдруг отправилась в совершенно противоположную от фронта сторону и из Москвы забралась в эту глухомань, расположенную (даже представить страшно!) в двух тысячах километров и от линии фронта, и от прифронтовой столицы.

И, наверное, чтобы понять эту 16-летнюю московскую девчонку, нужно послушать её тихий, спокойный, без надрыва, голос, который довелось мне слышать на её творческой встрече в Перми в далёком уже 1978 году.

Вот как обстоятельно разъяснила сама Юлия Друнина этот вопрос в своих воспоминаниях: «Накануне войны отец перешёл в только что организованную 1-ю Московскую спецшколу ВВС. И назывался отец теперь не классным руководителем, а командиром взвода!

И вот спецшкола эвакуируется. Куда?..

Я поняла, что должна увидиться с родителями. Попрощаюсь, а потом пойду в райком комсомола – девчонки говорили, что там зачисляются в школу радисток, разведчиков, диверсантов.

...Отец очень сдал за эти дни. Он был убеждён, что я вернулась только для того, чтобы ехать с ним в Сибирь. Произошёл один из самых мучительных в моей жизни разговоров.

Отец говорил примерно следующее: „Я уважаю твои патриотические чувства, но разве шестнадцатилетней девчонке обязательно быть солдатом переднего края? Не естественнее ли стать сестрой в госпитале?.. Романтика? Ты же не могла не понять, что на фронте ею и не пахнет? И что раненых из огня должны вытаскивать здоровые мужики, а не такие козявки?“. Я возражала, что точно такие „козявки“ воюют наравне со „здоровыми мужиками“. И при чём здесь романтика?..

Боязнь красивых слов помешала мне добавить, что прикрыть Родину в этот час можно только собой. И что я никогда не прощу себе, если проведу войну в тылу...

Через два дня, проводив родителей на станцию Москва-Товарная, где грузился их эшелон, я с тяжёлым сердцем пошла домой.

Москвичи готовились к уличным боям – ставили надолбы, строили баррикады.

Утром я должна была пойти в райком комсомола [В этот именно период в Москве девушек набирали исключительно в диверсанты, таким образом, Юлия Друнина могла повторить подвиг Зои Космодемьянской, которая была на полгода старше её и училась в соседней школе – Авт.].

Но жизнь решила иначе. На рассвете в квартире появился... отец. Оказывается, ночью столицу сильно бомбили (я-то ничего не слышала), на Москвитовской вспыхнули пожары, эшелон их задержали и не отправят раньше следующей ночи. Отец твёрдо решил никуда без меня не ехать („бред какой-то – ребёнок остаётся в осаждённом городе, а он, мужчина, эвакуируется!“). И в конце концов на фронт можно пойти и из Сибири – теперь-то я едва ли „боюсь“, что война кончится „слишком скоро“. А я пока немножко окрепну. Он даёт честное слово, что не будет мне препятствовать...

В глазах отца стояли слёзы, вид был, как перед сердечным приступом, и я сдалась... К тому же подействовал довод, что на фронт можно пойти и из Сибири»¹².

Она уступила отцу, наивно полагая, что из Сибири сумеет легко «сигануть» на фронт. Не знала она, коренная москвичка, что Сибирь – это не европейская Россия, Сибирь – это не Москва, Сибирь – это отдельное великое русское ханство, со своим менталитетом и своими обычаями и законами. Отпустить девочку на фронт, под огонь?! Да ведь она должна и телом и душой готовить себя к священному браку, а затем, словно рабыня, покорно сидеть дома, готовить пищу и заботиться о доме, хозяйстве, муже и детях. Это исключительно мужское дело – идти под огонь и умирать за свой родной край, за свой дом, за своих матерей, жён и детей!

На рассвете 16 октября 1941 года с Ярославского вокзала огромный длинный эшелон, в котором разместились две военно-воздушные, две артиллерийские и две военно-морские спецшколы, двинулся на восток. Предстояло в тесных теплушках, набитых под завязку людьми и оборудованием, проехать пол-России, более двух тысяч вёрст.

У Юли болела голова. Вероятно, это были последствия контузии от разрыва мины. Она разорвалась очень близко к ней, но все осколки полетели в противоположную от неё сторону (в войну осколки немецких мин действительно часто разлетались только в одну сторону). И ещё Юлю начала сильно мучить необъяснимая тоска по фронту, по действующей армии. Патриотические чувства защитить Родину странным образом переплетались в её душе с жадной снова ощутить невероятно сильные эмоции, с желанием вновь и вновь быть на грани жизни и смерти. А украдкой она вытирала набегающие на глаза слёзы – ей было очень жалко комбата, к которому в боях она испытала чувство любви – первое в своей жизни. И медленно нарастала в ней ненависть к фашистам, убившим любимого человека.

Ю.В. Друнина вспоминала:

«Поезд то мчался часами без остановок, то останавливался на неопределённое время, и тогда всюду на путях белели голые попы мальчишек – в теплушках, естественно, не было туалетов. Нам, девчонкам, дочерям преподавателей, приходилось туго – не уединишься...

А в глазах – и взрослых, и „спецов“ я снова была просто девочкой.

Словно мне приснилось всё, что произошло совсем недавно, в тех проклятых, в тех незабвенных лесах. И странная, непонятная для других

болезнь – „фронтальная ностальгия“ – начала преследовать меня уже в этом эшелоне, увозящем от войны...

Наконец эшелон с хмурыми „спецами“ затормозил в глухом таёжном посёлке Заводоуковка, под Тюменью»¹³.

Как мне удалось установить в архивах, специалисты, курсанты и оборудование 1-й Московской спецшколы ВВС прибывали в Заводоуковку не одним, а несколькими эшелонами с октября по ноябрь 1941 года. Тот эшелон, в котором находилась семья командира взвода, учителя истории В.П. Друнина, прибыл в Заводоуковку 22 октября 1941 года.

...А погода окончательно испортилась. После ливня, перешедшего в нудный затяжной и достаточно сильный дождь, который мы долго переждали в здании вокзала, поднялся сильный ветер. Мы по-прежнему стояли на виадуке, обозревая станцию, железнодорожные пути, товарняки, стоящие на них, и северную часть городка. Ветер поднялся такой силы, что сосны жалобно стонали, раскачиваясь верхушками. Этот шаловливый хулиган поднимал в воздух и разгонял по перрону мусор, пыль, цемент. Выдувая с севера, ветер гнал по небу серые клочья облаков. Стало холодно, и люди, проходившие по виадуку мимо нас, поёживались, кутались в одежду, отворачивали лица от распоясавшегося воздушного хулигана.

И я вдруг мысленно представил 22 октября 1941 года, село Заводоуковку, которое, безусловно, было в несколько раз меньше современного города Заводоуковска. Представил то неприятное впечатление, которое произвело село на курсантов, преподавателей и членов их семей, которые из столицы, центра цивилизации, в первый раз очутились в этом захолустье, затерянном среди непроходимых таежных лесов, со всех сторон окружавших деревянные одно- и двухэтажные дома и бараки. Как я проверил по старым сводкам погоды тюменских метеорологов, к моменту прибытия этого эшелона снега ещё не было, но в первых числах ноября он уже выпал.

Но вернёмся к Юле Друниной. В тот же вечер, после того, как их семью подсадили в избу к местным жителям, расположенную на улице Полугорной, она уселась писать письмо. И кому, как вы думаете?

Самому товарищу Сталину – Верховному Главнокомандующему!

В письме она клялась отдать свою жизнь Родине и товарищу Сталину и слёзно просила немедленно отправить её на фронт.

Удивительно, но ответ от «товарища Сталина» пришёл очень уж быстро – через три дня.

Вскрыв тонкий конверт и пробежав глазами короткий текст казённой бумаги, Юля едва сдержала себя, чтобы не зарыдать. Умнейшая девочка моментально сообразила, в какой особый, глухой, дремучий и жестокий край она попала! Сибирь – это вам не Москва! Здесь свои порядки, и царствуют свои законы!

Все письма «товарищу Сталину» отбирали в районном центре – городке Ялуторовск – и жадно читали специальные на то поставленные люди, после чего ими занимались соответствующие службы – от НКВД до райкомов партии и комсомола. Письмо несовершеннолетней гражданки женского пола, эвакуированной из Москвы Ю.В. Друниной было тотчас откомандировано в Ялуторовский райвоенкомат, располагавшийся в здании на улице Сталина, откуда в тот же день гражданке отослали короткий казённый ответ, состоящий из нескольких строгих сухих строчек.

В письме, подписанном райвоенкомом, с печатью, гражданка Юлия Владимировна Друнина официально извещалась, что «без особого указания женщин в армию не призывают». Поэтому Ялуторовский райвоенкомат не имеет права призвать её в ряды Красной Армии, даже в качестве добровольца. Здесь, в Сибири, действовали законы тыла и указанные выше взгляды на роль женщины в семье и обществе.

Вот когда Юля поняла, в какую ловушку невольно попала.

Она протянула письмо отцу, молча выразительно посмотрела на него. Владимир Павлович вздрогнул и отвёл глаза в сторону, прочитав в глазах дочери немой укор. «Ты увёз меня сюда, в эту дыру, за две тысячи вёрст от фронта, обнадежив, что на фронт можно уйти и из Сибири. И что? Что мне прикажешь сейчас делать?» – с болью кричали её распахнутые настезь глаза.

Юля была мужественным человеком. Она не проронила ни слезинки. Но какая буря бушевала внутри неё!

На следующее утро Юля с улицы Полугорной напрямик через железнодорожные пути прошла к зданию вокзала (того самого, где мы только что пережидали ливень с внуком).

– Мне нужно в Ялуторовск, – заявила она коменданту железнодорожной станции.

– Куда енто? В Елуторовск? – насмешливо переспросил седой мужчина-комендант, шмыгая красным мясистым носом.

– Да! Очень нужно! – прямо устремив на него свои удивительные голубовато-зелёные глаза, сказала она.

– Барышня! Билеты мы выдаём токмо военным, а гражданским – по особым проездным документам. Есть у тя, девочка, таковой?

Юля сменила тон на умоляюще-просительный. Но все было тщетно.

– Чё ты тамока забыла, дефка, в ентот Елуторовске? Он жа дыра дырой, – спросил комендант.

– Мне надо в военкомат, хочу добровольцем записаться в Красную Армию...

– Тю-тю-тю... Ты-то? И на фронт? – с презрением окинул её худую фигурку мужчина. – Детсадовских в армию у нас в Сибири не берут. Да и бабам делать на фронте нечего! Вы, однако, должны пиццу варить, одёжу стирать, обшивать нас, мужиков.

Юля, естественно, не смогла достать проездных документов на поезд, а все эшелоны шли мимо, не останавливаясь в Заводоуковке. Проторчав почти весь день на станции, она ни с чем пришла домой.

Но кто мог остановить этого железного бойца, которого Бог поместил в хрупкую тонкую фигурку прелестной юной женщины?!

На следующий день, одевшись потеплее и взяв с собой комсомольский билет, ничего не сказав родителям (впрочем, они уже были на службе), Юля с улицы Полугорной вышла на железнодорожные пути и пешком прямо по шпалам потопала в сторону Ялуторовска.

Согласно архивным данным, по сводкам метеорологов в конце октября 1941 года температура в Тюмени (а это всего лишь в ста километрах от Заводоуковки) в дневное время колебалась от +4 до +8°C, дни стояли преимущественно ясные, не дождливые. И на том спасибо!

Но предстояло пройти около 25 км! В одну только сторону!

– Сколько километров до Ялуторовска? – спросила она у хозяйки ещё вечером.

– Да двадцать вёрст с гаком, однако, – ответила та, взглянув с удивлением.

Эта цифра в «20 с лишним километров» фигурирует в воспоминаниях Ю.В. Друниной. Но она ошиблась!

Несколько раз по различным картам и документам я проверил – расстояние от железнодорожного вокзала Заводоуковска до железнодорожного вокзала Ялуторовска составляет ровно 25 км. А железнодорожный путь этот, построенный в 1910–1911 годах, с этого времени не менялся. Впрочем, к вопросу о расстоянии от Заводоуковки до Ялуторовска мы ещё вернёмся.

Вот как описывает свой, полный драматизма, мужества и огромных физических сил, путь по шпалам из Заводоуковки в Ялуторовск, совершенный в 16-летнем возрасте, Ю.В. Друнина в воспоминаниях:

«Я решила пойти в Ялуторовский райвоенкомат лично. Добраться туда можно было только пешком, по шпалам, оттопав двадцать с лишним километров, – обычно в Заводоуковке не останавливались никакие составы.

Шла я в самом радужном настроении. Меня осенила гениальная идея „потерять“ паспорт (пусть попробуют затребовать дубликат из прифронтовой Москвы!) и прибавить себе годик или, ещё лучше, два.

На полпути меня остановили мост через Тобол и грозный оклик пожилого усатого часового:

– Стой! Кто идёт?

Тогда, ничтоже сумняшеся, я решила перебраться через реку по свободно плывущим бревнам – в те времена лес сплавливали не связанным в плоты, „молью“.

У берега брёвна плыли густо и медленно – перепрыгивать с одного на другое было просто. Но чем ближе к середине широченной реки, тем они шли реже, и я уже с трудом сохраняла равновесие. А на середине просто-напросто стала тонуть...

Кроме себя, надеяться было не на кого. Я легла на скользкие уходящие в воды и пытающиеся ударить меня по голове бревна и неуклюже, как краб, переползала с одного на другое.

Говорят, Бог хранит дураков. Только этим я могу объяснить, что всё-таки добралась до противоположного берега.

Однако не успела я распрямиться, как снова услышала знакомое:

– Стой! Кто идёт?

Не знаю, за кого принял меня молоденький круглолицый солдатик – за русалку или за диверсантку, но вид у него был испуганный.

– Стой! Стрелять буду!

Я увидела направленное на меня трясущееся дуло винтовки и по отчаянному лицу часового поняла, что он действительно выстрелит.

– Ложись! – прозвучал срывающийся юношеский тенорок, и одновременно щёлкнул затвор.

Не раздумывая, я плюхнулась в ледяную воду и лежала в ней до тех пор, пока не появился какой-то заспанный командир. Меня под конвоем отвели в жарко натопленную каптёрку.

Поняв, что я не вражеский лазутчик (при мне был комсомольский билет. „Вроде настоящий“, – задумчиво сказал командир), меня сначала обругали хорошенько, а потом, дав обсушиться, даже остановили попутный товарняк, чтобы он подбросил меня до Ялуторовска»¹⁴.

Нетерпеливо забегаю вперёд. Через несколько дней из Заводоуковска мы с Мишей совершили вояж в Ялуторовск. Не поленились и, пройдя по берегу вдоль Тобола, нашли то место вблизи железнодорожного моста, где, вероятнее всего, по скоплениям брёвен перебиралась Юлия Друнина на другой берег. Здесь имеется остров в центре реки, который обычно скрыт под слоем воды и только в засуху появляется на поверхности. В годы Великой Отечественной войны в Ялуторовске функционировал известный в Сибири лесозавод, для которого по Тоболу сплавляли лес, не связывая брёвна в плоты. Было два места по Тоболу, выше и ниже моста по течению, где брёвна вылавливали и по двум узкоколейкам доставляли на лесозавод. По Тоболу образовывались заторы с массивными скоплениями брёвен. Даже сейчас русло Тобола возле Ялуторовска содержит множество «топляков».

Удивительно, но, по прошествии уже многих десятилетий, скопление брёвен в этом обнаруженном нами месте до сих пор сохраняется. Здесь мы увидели так много старых полусгнивших брёвен, что их невозможно подсчитать. Часть их стоит торчком (вертикально или наискось), часть лежит на поверхности воды, ибо не может проплыть дальше из-за образовавшегося в русле Тобола затора из брёвен. Место это находится не под мостом, а южнее его, вверх по течению реки.

...От Ялуторовского железнодорожного вокзала Юлия прошла 6 кварталов в обратную сторону, вышла на улицу Сталина (ныне – улица Революции), зашла в Ялуторовский районный военкомат.

Районный военком её принял, но заявление с просьбой о добровольном вступлении в ряды Красной Армии не подписал. И не одобрил.

– Я же вам, голубушка, только што отписал в Заводоуковку, што баб мы в армию не берём, на фронт не отправляем. Только мужики нужны!

– А я уже воевала, была на фронте, к вашему сведению! – обозлилась вдруг Юлия.

– А документик об этом имеется? Ах, нетука! Тогда это пустой звук. На нет и суда нет. Пряткая ты, однако! Фронт те подавай.

Сбивчивый рассказ Юлии о рытье противотанковых траншей, путешествиях в Можайских лесах с дивизией ополчения и затем – самоотверженной работе санинструктором в пехотном батальоне не произвел особого эффекта на сухого военкома.

– Пойми, девка! Время сейчас военное. Я работаю строго по приказам, инструкциям. Иначе – нельзя. Посадят. Кстати, особисты уже проверили, сказали: ты – не шпиёнка. И на том скажи спасибо. А то они шипко сомневались в тебе, деваха... Мол, привалила к нам непонятно откедова и непонятно кто, баская, смелая, бойкая, да так вдруг шипко в нашу родную армию запросилась...

Юлия усталой и огорчённой медленно вышла из здания военкомата. Перед ним простиралась огромная пыльная площадь. Как она потом узнала – раньше на этом месте стоял знаменитый золотоглавый Сретенский собор, взорванный в 1930-е годы. А сейчас лишь тучи пыли и песка поднимал налетающий порывами осенний ветер, усиливая Юлину тоску и печаль. Вдали виднелся Тобол, который широкой лентой извивался на измененной местности, то подходя к городу совсем близко, то снова удаляясь от него. Многие эта великая сибирская река повидала на своём веку – тюркских древних первобытных людей, сибирских татар, монголов, дружины Ермака, царских наместников, белых, красных. Сколько великих драм разыгралось

на берегах Тобола, сколько крови пролито! А он ничуть не изменился за эти века и всё так же спокойно и величаво несёт свои голубые воды на север.

Юлия гордо и непокорно подняла голову, поправила шаль, выпрошенную на денек у квартирной хозяйки, на секунду приоткрыв свои прекрасные светлые золотые волосы. Слёзы высохли на её бледных девичьих щеках.

– Я не сдамся! – прошептали её губы.

И она двинулась влево, к железной дороге, чтобы вновь неутомимо прошагать более двадцати вёрст по шпалам, добираясь до своей таёжной Заводоуковки...

Продолжение следует

ЛИТЕРАТУРА И ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Хозиева С.И. Русские писатели и поэты. Биографический словарь. М. : Рипол классик, 2000. С. 186-188.
- ² Друнина Ю. С тех вершин (Страницы автобиографии). В кн.: Друнина Ю.Я только раз видала рукопашный. М. : Дружба народов, 2000. С. 9-84. (Далее сокр. – Друнина Ю. С тех вершин). Цит. С. 30.
- ³ Друнина Ю. С тех вершин. С. 13-15.
- ⁴ Там же. С. 15-16.
- ⁵ Там же. С. 16.
- ⁶ Там же. С. 12,15-16.
- ⁷ Там же. С. 28.
- ⁸ Друнина Ю. Страницы автобиографии. В кн.: Ялуторовск в годы Великой Отечественной войны. Под ред. П.К. Белоглазова. Тюмень: Тюм. издат. дом, 2015. (Далее сокр. – Друнина Ю. Автобиография). Цит. С. 150-151.
- ⁹ Шапка Гиппократ – специальная медицинская повязка на голову при ранениях волосистой части головы и черепа.
- ¹⁰ Друнина Ю. С тех вершин. С. 19.
- ¹¹ Друнина Ю. Автобиография. С. 153-154.
- ¹² Там же. С. 154-155.
- ¹³ Друнина Ю. С тех вершин. С. 29.
- ¹⁴ Друнина Ю. Автобиография. С. 155-156.





ПОЭЗИЯ

Валерий БОКАРЁВ



Валерий Бокарёв (Бокарев Валерий Павлович) – член Московской городской организации Союза писателей России, поэт, лауреат конкурса имени Анны Ахматовой 2014 г.; победитель Международного конкурса «Национальная литературная премия Золотое перо Руси – 2021», автор семи сборников стихотворений и многочисленных публикаций стихов и прозы в газетах, журналах и ежегодных конкурсных альманахах и сборниках. Выпускник химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, учёный физико-химик, доктор технических наук, профессор кафедры микро- и нанoeлектроники МФТИ, ответственный секретарь научно-технического журнала «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника», автор более 200 научных статей и патентов на изобретение, двух учебных пособий и монографии. Живёт в Москве.



Блуждающий атом

Вот и эта звезда догорела,
Ярко вспыхнув, канула в ночи.
Опустела Земля, опустела...
Но по-прежнему будут грачи
К нам весною домой возвращаться
Из других удивительных стран,
И опять будут люди прощаться,
И в кирках надрываться орган.
А грачи своим радостным криком
Презирают и вечность и тлен,
И святые с замученным ликом
Тихо шепчут с ободранных стен.
В этом мире и звёзды не вечны,
Их везут, положив на лафет.
Спи спокойно, отныне ты вечный,
Ты действительно лучший поэт.

Ты мне сказала, что придёшь,
Но не пришла.
Затем – письмо пришлешь,
Но не прислала.
И мне тогда душа моя сказала,
Что ты кого-то ждёшь,
Но не меня.

И оттого, не злясь и не вина
Тебя, а может, и того, другого,
Я ухожу. Бери теперь любого,
Я ухожу, по-прежнему любя.
Но всё пройдёт,
Любовь меня оставит
И новая придёт
И вновь страдать заставит.

На этой земле ты одна,
И я одинок.
Дарю тебе вместо цветка
Немного рифмованных строк.
И если когда-нибудь ты
Начнёшь вдруг скучать,
Взгляни на цветы
И я появлюсь развлекать.
И если когда-нибудь ты
Захочешь мне что-то сказать,
Взгляни на цветы
И быстрее приходи,
Тебя буду ждать.

Начитался

Кто-то время от времени в окна стучит.
То ли ветер, то ль путник заблудший.
Тишина, и внезапно вдруг кто-то кричит –
Может, птица, иль призрак опухший.

А потом, чуть вздохнув, в потолок заскребёт,
Заскрипевшую дверь приоткроет.
И меня суеверия страх обольёт:
Полночь... издали колокол стонет.

Вдруг – по крыше бежит, покатился, исчез.
Невозможно со стула подняться.
Эта чёрная ночь, по-научному – стресс.
Всюду нервы, а надо держаться.

Кто-то в белом внезапно к окошку припал.
Не гляди! Всё внутри закричало.
Застонало в трубе... Я дрожал.
Видно, им напугать меня мало.

Захотелось, видать, отыграться на мне
Лженаучным и злым приведеньям.
Оглянулся: луна лишь в окне,
Право жалко – напрасны волненья.

Задавило стих городом
Тихо, незаметно.
Без звонка в милицию,
Без строчек газет.
Задавило стих городом,
И лишь только поэты
В траурных одеяниях
Несли его портрет.
На поминках его хоть бы кто-то заплакал.
Лишь поэта глаза излучали тоску.
Лишь стакан от отчаянья
Падает на пол,
И скрипит от бессилия
Преданный стул.
Для столичного жителя
Всё по-прежнему было.
Не пропали театры, осталось кино.
Только нервными всхлипами поэтесса завывала,
И известный поэт погрузился в вино.
А под утро известный поэт застрелился,
И на это раз было много строчек газет.
Их ещё больше стало, когда задушился
Знаменитейший лирик, не найдя пистолет.

Я помню нежные руки,
Я помню взгляда тепло.
Я помню музыки звуки.
Куда всё это ушло?

А в небе звёзды купались,
Как в море.
Зачем с тобой мы расстались?
Зачем это горе?!

Как было много печали
Когда мы ссорились, помнишь?
Зачем тогда мы молчали?
Зачем не шёл я на помощь!?

И вот опять одиноки,
Отчаянье гложет.
Опять от счастья далёки,
Надолго, быть может.

Вода

Кругом вода, вода, вода.
Она одна.
Корабль словно вошь
Поверхность портит – ползёт.
Волной его, и о скалы – хлоп!..
Глядишь – утоп.
Вышел приказ: точить берега –
Земля велика.
Уменьшился облик земной,
Покрывшись водой.
И властвует наша вода.
Что ж, властвуй пока.
Текла река, как река,
Вдруг стала мелка.
Где был океан – идёт караван.
Песок сухой, и воды
Попробуй найди.
Антарктида – та же вода
Но по форме – гора,
И по виду суха.
Вода на нас льётся дождём,
А мы обнагтели – ждём.
Вода старается, дождевым волнением
Устраивает наводнения,
А мы, в отместку, её в плотину
Загнали и держим как скотину.
Бутылка с крышкой – внутри вода,
На этот раз вполне одна.

Каждый день почти одно и то же:
Вижу Вас и не могу сказать,
Что люблю Вас и страдаю – Боже,
Как в стихах всё это передать!

Я глаза в волнении опускаю,
Я боюсь чего-то впереди.
Грусть придёт, её я отгоняю
Нежностью, накопленной в груди.

Мой шар земной, быстрее вертись!
 Мой глобус, уносишь в пространство!..
 Но как-нибудь, придя из странствий,
 Остановись и осмотришь.
 Возьми тогда, кого оставил.
 Всех тех, кто жизнь свою направил
 На то, чтоб ты быстрее летел.
 Небытие – не их удел.
 Стряхни с поверхности своей
 Осатаневших сыновей.
 Быть может, и они поймут,
 Что людям нужен и уют.
 Они не ропщут, что ж, лети.
 За это всех их приюти
 В своих лазурных берегах,
 В своих чащобах и лугах.

В общаге

Я курю в одиночестве
 Вместо водки и чтения
 Сигарету отчаянья,
 Сигарету смирения.
 Вспоминаю отрочество,
 Слышу звуки бессилия:
 Старый, как твоё отчество?
 Старый, как твоё имя?

Лишь для матери маленьким
 Я остался и ныне:
 Всё зовёт меня Валенькой –
 Нет прекраснее имени!
 Время врёт, говоря мне – старею.
 Я такой же, меняюсь я мало.
 Даже издали видя тебя, я добрею,
 Моя милая, нежная мама!
 Забываю про мир окружающий,
 Под твоё ухожу покровительство.
 Я малыш, лишь тебя понимающий.
 Наплевать мне на войны, правительства.
 Наплевать мне на все заявления
 Марзматов в подончестве старших.
 Этот мир для меня не явление,
 Отошёл он, как ангел падший.

Да и мне ли цепляться за общество?
 Что даёт мне оно?
 Пустоту и отчаянье, в общем-то,
 Ласку женщин, табак да вино.
 Обойдусь без него.
 Я останусь один.
 Оторвусь и уйду далеко
 От объятий расплавленных льдин,
 Хоть уйти нелегко.
 Мне ль исправить людей!
 Их не учит ни мор, ни война.
 Только жаль матерей.
 Ваша жизнь для детей,
 К сожаленью, бессилья полна.

Понятливый человек

Услышал я: «Не пей вино!
 Оно ужасно как вредно,
 В нём смертные токсины!»
 И мне подумалось – ого!
 Так вот зачем берут его
 Философы-мужчины!

При виде женщин говорят:
 «И в них сокрыт ужасный яд
 Ты не успеешь подойти
 Как в грудь она ужалит».
 Так значит, этого хотят,
 Так вот зачем мы всех подряд
 Глазами провожаем!

Мне лекарь говорил давно:
 «Лежать вредно и есть вредно».
 И я не возражаю,
 Ведь это знают все давно.
 Так вот зачем, поев плотно,
 Поспать я обожаю!

Итак, выходит, жить вредно,
 И остаётся нам одно:
 Дрожать и выть ночами!
 Так вот зачем я ем и пью,
 Когда захочется мне – сплю,
 Так вот зачем я жизнь люблю
 И если повезёт, дрожу
 Пред женскими очами!

Блуждающий атом

Надоело стоять
 В замороженном строе,
 Колебаться со всеми в едином строю.
 Захотелось бежать,
 Любоваться на море.
 Энергичный прыжок – и прощайте! Люблю!

О, как много всего,
 И без всякой границы!
 Мириады миров и единственный мир.
 Атом мчит сквозь него,
 Как свободная птица.
 По пути отправляя восторги в эфир.

Как легко оторваться
 И лететь во Вселенной.
 Быть свободным во всём и от всех.
 Не успев разобраться,
 Стал богатым иль бедным,
 Убегать, увеличивать бег.

Выбрать в мире галактику,
 Точку – планету;
 Всё увидеть и всё оценить.
 Но для этого практику
 Или солнце – карету
 Надо как-то себе подчинить.

Мчатъ средь звёзд супостатом,
 Взвиваться спиралью,
 Ощипать хвост кичливых комет.
 И неважно, что атом,
 И то, что нейтральный,
 И что мал оставляемый след.

Кто следы эти мерил?
 Нет занятия горше!
 Как измерить блаженных дары?
 Только сам чтобы верил,
 Непременно твой больше,
 Чем Вселенной большие миры.

Не найдётся мороза,
 Чтоб тебя заморозил.
 Даже солнцу тебя не поджечь.
 Только бисером слёзы.
 И память занозит
 Ожиданье забывшихся встреч.

Вдруг внезапно понять,
 Для чего ты расстался
 И умчался туда, где нас нет.
 Захотелось собрать
 То, чем лишь любовался,
 Разобраться, где истинный свет.

Своих мыслей заложник,
 Мчал блуждающий атом.
 День ушедший зарёй догорал.
 То Великий Художник,
 Крутя реостатом,
 Увеличивал звёздный накал.

Эти звёздные зори
 Зачерпнуть бы в ладони
 И оставить с собою навек.
 В дымке розовой море,
 Будто красные кони
 Ускакали в бездонный забег.





Готическая повесть

*Умирая, томлюсь о бессмертии.
Низко облако пыльной мглы...
Пусть хоть голые красные черти,
Пусть хоть чан зловонной смолы.*

А. Ахматова

Глава первая

Открывающая повествование случайной встречей на чейплизодском кладбище двух соотечественников

Полагаем, не лишним будет сперва предуведомить любознательного читателя, что эта жуткая и (не побоимся сего выражения) прямо-таки леденящая кровь история произошла в пригороде Дублина хмурым осенним вечером 2005-го года, аккурат накануне Самайна или Дня Всех Святых. А вот теперь можно и начинать. Итак...

Невысокий лысоватый человек утёр лоб большим клетчатый носовым платком, обмахнул им и лицо своё, украшенное пышными старомодными бакенбардами, снял с породистого носа квадратные очки в толстой черепаховой оправе и также тщательно протёр слегка запотевшие стёкла. Водрузив оные обратно на переносье, он протянул из-под раскрытого зонта руку ладонью вверх, убедился, что противный морозящий дождь закончился, сложил зонт, рассеянно огляделся и хотел уже продолжить свой путь дальше, как вдруг взор его наткнулся на расположенную всего в нескольких шагах почерневшую от времени и непогоды скамейку и недвижно сидящую мужскую фигуру, облачённую в лёгкое, изящного покроя кашемировое пальто благородного кофейного оттенка.

Незнакомец сидел в расслабленной позе, откинувшись на спинку грубой деревянной скамьи, одиноко кособочившейся под сенью неохватного корявого вяза, что вот уже лет триста рос на центральной аллее старого Чейплизодского кладбища. Глаза импозантно одетого джентльмена были



Сергей Валентинович Юдин – 1965 г.р., москвич. Публиковался в журналах «Урал» (Екатеринбург), «Изящная словесность» (СПб), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Бельские просторы» (Уфа), «Северо-Муйские огни» (Северомуйск), «Менестрель» (Омск), «Искатель» (Москва), «Зеркало» (Тель-Авив), и др., а также в сборниках «Святочные рассказы, XXI век» (ИД «Русь-Олимп», 2010), «Тёмные» (АСТ, 2016). Автор романа «Золотой лингам» («Вече», 2012, в соавторстве с А. Юдиным).

Живёт в Москве.



закрыты, лицо выражало весьма подходящие для этого места последнего упокоения совершенные безмятежность и довольство, а на коленях дымилась пенковая трубка с длинным янтарным чубуком. Рядом на скамье стоял высокий стакан толстого стекла и початая бутылка *Irish whiskey* объёмом в кварту.

Как только лысоватый господин поравнялся со скамейкой, сей незнакомец приоткрыл один глаз, сунул левой рукой трубку себе в рот, а правой без всяких церемоний сделал широкий приглашающий жест, одновременно перемещаясь на конец сидения.

Обладатель черепаховых очков огляделся вокруг, убедился, что на аллее нет более ни души и, таким образом, любезность незнакомого джентльмена ни к кому иному обращена быть не может, вежливо поклонился и произнес с видимым удивлением, не слишком сильно коверкая английскую речь:

– Весьма признателен за приглашение, сэр, но не смею вас беспокоить.

Однако прежде чем он успел сделать хоть шаг, явно собираясь поскорее проследовать дальше, человек на скамейке открыл второй глаз, затем живо поднялся, оказавшись неожиданно крупного сложения и роста, вынул изо рта трубку и произнес на чистом русском языке, сопровождая свои слова улыбкой и лёгким поклоном:

– Ну, что вы! Какое же это беспокойство? Так отрадно встретить на этом забытом святым Патриком клочке суши соотечественника. И притом не на *Suffolk Street*, а здесь – на лоне природы, в тихом и покойном уголке.

Ещё более удивлённый (и не сказать, чтобы приятно), наш герой мгновение молча и недоуменно рассматривал снизу вверх неведомо как здесь оказавшегося рослого соотечественника, затем перевел взгляд на торчащий из кармана его собственного плаща русскоязычный путеводитель по Дублину, понимающе кивнул, коснулся в знак приветствия ручкой зонта правого бакенбарда и отвечал с долей лёгкой иронии:

– Да, да. Очень отрадно, просто несказанно.

– Прошу вас, не стесняйтесь, присаживайтесь! – не унимался внезапно обретённый соотечественник, гостеприимно указуя рукой на скамью.

– Ах, я рад бы... Да, видите ли, время...

– Позвольте представиться, – перебил его незнакомец, – Горислав Костромиров, историк.

Вздохнув, лысоватый господин нехотя присел на край мокрой скамейки и отрекомендовался в свою очередь:

– Сопоткин. Константин Петрович Сопоткин, литератор.

– Феерично! А я ведь вас знаю. Заочно, конечно. Читал. Да. Весьма. Подумать только, какая удивительная встреча! А позвольте поинтересоваться, вы здесь как турист или по казённой надобности путешествуете?

– Это в каком же смысле – по казённой? – удивился Сопоткин, с проснувшимся профессиональным любопытством разглядывая некрасивое, но выразительное лицо нового знакомого.

– В том смысле, – не по заданию ли редакции?

– У меня, к вашему сведению, никаких заданий не бывает, – несколько высокомерно отвечал Константин Петрович. – Я не журналист, поэтому и путешествую сам по себе. Для собственного своего удовольствия.

– Вот как. Завидую, – со вздохом отозвался Костромиров и принялся неспешно раскуривать трубку.

Некоторое время оба сидели молча. Причём историк со звучной фамилией и странным именем словно позабыл, что сам же и явился инициатором

знакомства, едва ли не насильно заставив Сопоткина прервать его одинокую прогулку, и теперь лишь невозмутимо пускал клубы ароматного табачного дыма, да задумчиво разглядывал медленно растворяющиеся в напитанном влагой воздухе сизые кольца.

Литератор продолжал искоса рассматривать его лицо, тщетно гадая, какое животное напоминают ему эти хищные черты: недлинный крючковатый нос, сардоническая складка губ и большие, даже выпуклые глаза под густыми, почти сросшимися кустистыми бровями. С первого взгляда он почуял в новом знакомом нечто необычное. При детальном осмотре вроде бы ничего примечательного не обнаружилось; черты лица его, взятые в отдельности, за исключением высокого покатога лба, казались вполне заурядными. Но всё же странная бледность, отпечаток умственного превосходства, сарказма и решительности делали его внешность не совсем обыкновенной. Сопоткин дал бы ему сорок пять, а может быть, тридцать шесть или сколько угодно лет, – это был человек без возраста. Наконец, посчитав молчание слишком затянувшимся, и полагая, что, раз усевшись, довольно нелепо тут же встать и распрощаться, Константин Петрович нехотя поинтересовался:

– А вы, стало быть, по делам приехали? Горислав... Э-э-э..?

– Игоревич.

– Так, стало быть, по делам, Горислав Игоревич?

– Формально – по приглашению здешнего Колледжа Троицы, а фактически – сам напросился, – с готовностью отвечал тот. – Видите ли, в фондах библиотеки Альфреда Честер-Битти совершенно случайно обнаружился весьма любопытный даосский манускрипт, коий местные синологи отнесли чуть ли не к эпохе Борющихся Царств. Как выяснилось – по недоразумению. Собственно, ошибочность подобной датировки была установлена ещё до моего приезда, потому и в самой поездке особенной нужды не было... Но, раз средства выделены, почему бы и не навестить в очередной раз коллег...

– Так вы востоковед? – спросил Сопоткин.

– Преимущественно, – уклончиво ответил историк и, спохватившись, добавил: – Ах, простите мою рассеянность!

С этими словами Костромиров вытащил пробку из объёмистой бутылки и, плеснув в стакан ароматной жидкости, протянул его писателю:

– Прощу вас, угощайтесь. За встречу, так сказать...

– Нет, нет! Это совершенно лишнее, – поспешил заверить его Сопоткин, отводя в сторону предложенное угощение. – Совершенно лишнее.

– Ах, бросьте! Пара глотков вам совсем не повредят. В здешнем климате без этого никак невозможно. Уж, поверьте, – продолжал настаивать историк, соблазнительно помахивая стаканом перед самым носом своего собеседника. – *Locke's* двенадцатилетней выдержки. Чувствуете, каков букет? А?! То-то!

– Ну, разве пару глотков... – сдался наконец Константин Петрович. – Погода, действительно, преотвратная.

– А я о чём! Сто семьдесят дней в году – дожди. Можете себе представить? И находятся ведь ханжи, обвиняющие ирландцев в пьянстве. Да как же на этом чёртовом острове не пить? В мокрицу можно запросто обраться. Или ещё во что-нибудь похуже...

– Верно. Я здесь уже неделю, и хоть бы раз выглянуло солнце... Точнее, пару раз, конечно, выглядывало, но как-то неубедительно...

– Как вам виски? – поинтересовался Костромиров. – Превосходный, не находите?

– Виски, действительно, отменный, – согласился Сопоткин, с удовольствием ощущая разливающееся по жилам приятное тепло. – Однако, что ж вы всё мне подливаете? А сами-то не пьёте отчего?

– Э, нет, увольте! – ответил Горислав Игоревич, передавая литератору почти полный стакан. – Я виски стараюсь не употреблять... У меня от него жуткая изжога. Просто жутчайшая.

Сопоткин, уже отхлебнувший изрядную часть очередной порции, поперхнулся и закашлялся:

– За... кхах! кхех!.. чем же... кхах!.. Зачем же вы бутылку прихватили? Раз не употребляете?

– Да, видите ли, какая оказия, – улыбнулся историк, – я здесь с коллегой уговорился встретиться, а он как раз большой любитель... Но, видимо, что-то случилось – не пришёл; битых два часа прождал этого бездельника и всё напрасно...

– Во-она как, – протянул Константин Петрович, ставя недопитый стакан на скамейку, – в таком случае и я, пожалуй, воздержусь.

– Напрасно, – со вздохом сказал Костромиров, – у вас же нет изжоги. Я и сам, как видите, не удержался, употребил пару капель, – продолжил он, болезненно морщась и массируя пальцами область желудка: – Глупо показалось зябнуть с полной бутылкой в кармане... А вы, наверное, подумали – вот, дескать, маргинальная личность, с пузырьком один на один рассиживает?

– Что вы! Что вы! – Константин Петрович воздел ладони, выражая слабый протест.

– Подумали, не спорьте. Так уверяю, мне столь вызывающе-антиобщественное поведение обычно не свойственно. Тут дело не в одном лишь коллеге... Просто я только что – буквально часа три назад – узнал о смерти близкого мне человека... Некогда близкого.

– Соболезную, – Константин Петрович постарался изобразить на лице приличную толику скорби.

– Спасибо. Кстати, из ваших, из литераторов. Алексей Рузанов. Может, слышали?

– Пойдите... – наморщил лоб Сопоткин. – Не автор ли «Ликантропии»?

– Он самый, – Костромиров печально кивнул. – Так что, видите, повод достаточно серьёзный. Ну как, плеснуть пару капель? А?.. Впрочем, как знаете.

Сопоткин уже было собрался воспользоваться моментом и откланяться, как новый знакомый опять остановил его вопросом:

– А позвольте полюбопытствовать, что вас привело на сей заброшенный погост? Или случайно забрели? Из Феникс-парка?

– Набираюсь впечатлений для очередного шедевра, – ответил Сопоткин, немного раздражённо поглядывая на недопитый стакан.

– Коли вас интересуют владения Танатоса, непременно посетите Глазневинское кладбище. Оно, хотя и действующее, но уж конечно, не менее старое, чем Чейплизодское. Или вы там уже побывали?

– Вы правы, успел посетить. Но оно меня, признаюсь, как-то не впечатлило, даже отпугнуло. Скорее всего, я просто сразу попал на неудачное место. Как говорится, выбрал неправильную точку обзора.

– Что вы имеете в виду?

– Ну, мой гид первым делом затащил меня на так называемую «аллею недоносков», – пояснил Сопоткин. – Это там, где похоронены выкидыши. Да, да! Местные католики хоронят и мертворожденных детей. Представьте себе множество деревянных крестиков, увешанных эдакими весёленькими гирляндами, колокольчиками, обложенных ворохами полуистлевших игрушек... Страх берёт, как представишь себе всех этих никогда не живших Шонов и Патрисий, распадающихся на жиры и углеводы в крошечных гробиках-коробочках...

– Вот как? Очень интересно, – оживился историк. – В этом действительно есть нечто языческое, весьма напоминает некоторые обычаи пунийцев. Точнее, детские вотивные захоронения карфагенского тофета. А может, ханаанейские могилы в Тааннаке, Гезере и Мегиддо. Знаете, те, что в своё время нашли Зеллин и Макалистер... Ага. Нужно будет непременно сходить посмотреть.

Оба собеседника, увлечённые разговором, будто и не замечали, что солнце видимо клонится к западу, тени становятся длиннее, вечерняя прохлада – всё ощутимее, и некая таинственная тишина медленно опускается на старинное Чейплизодское кладбище.

А день медленно угасал. Нависающие над землёй дождевые облака, дождавшись заката, незаметно уползли куда-то к горизонту, будто ненужные уже декорации, и очистившееся небо приобрело мертвенный блекло-голубой оттенок. На усыпанную красным гравием дорожку, на кроны и стволы деревьев легли холодные и тусклые розоватые блики; все краски вокруг будто полиняли, стали приглушёнными и безжизненными, как на выцветшей от времени акварели; звуки умерли – затих птичий гомон, не было слышно шелеста дождевых капель, ни малейшее дуновение ветерка не тревожило колючие ветви и резную листву разросшихся вдоль аллеи кустов боярышника – звенящая тишина глухим куполом накрыла старое кладбище.

Между тем, за редкими вязами и вечнозелёными могильными тисами, там, где теснились в хаотическом беспорядке кельтские, с причудливым колесообразным верхом кресты из серого песчаника, уже легла гигантская чёрная тень, словно ночь, подобно туманному призраку, выходила из-под земли, просачивалась через отдушины склепов, покидала свои жуткие каменные укывища, поднимаясь к подножиям покосившихся крестов и надгробных памятников, пожирая последние дневные краски и оставляя за собой лишь пепельно-серые и угольно-чёрные цвета.

Глава вторая

В которой рассказывается о неожиданно возникшем философском диспуте между двумя соотечественниками, случайно встретившимися на кладбище

Константин Петрович невольно поёжился от неясно с чего пробравшей всё его тело лёгкой нервной дрожи и неожиданно спросил Костромирова:

– Вы верите в привидения?

– Привидения? Что вы под этим подразумеваете? Фантомы? Духи? Призраки умерших? – удивился историк.

– Ну, что-то в этом роде.

– Нет, не верю.

– Отчего же? Быть в Ирландии и не допускать существования привидений – это, как мне кажется, нонсенс, да и чревато неприятностями.

– Возможно, вы и правы, – согласился Костромиров. – В Ирландии действительно не место скептикам. По крайней мере, среди аборигенов они практически не встречаются, разве что – на севере. Но, что делать, мой скептицизм не зависит от географии. Ведь, что обыкновенно мы понимаем под призраком? Неприкаянную душу некогда живого существа. Так? А что такое эта самая душа или психея, как её именовали греки, если не то, что мы нынче называем сознанием? Но я отказываюсь понимать, как сознание может продолжать жить, когда его физическая основа уничтожена. Я слишком уверен во взаимосвязи между телом и сознанием, чтобы поверить в такое.

– То есть вы отрицаете бессмертие души?

– Безусловно. Всякий смертный смертен. И умирает он весь целиком... Думаю, вы со мной согласитесь, что большинство из нас, людей, – не бог весть какое сокровище. По существу, мы зачастую столь ничтожны, что не заслуживаем ни вечных мук, ни вечного блаженства. Да и что такое бессмертие, если не бесконечная жизнь. Так? Но жизнь есть способ существования белковых тел. При чём же здесь бестелесные сущности?

– Тут я с вами не соглашусь, – отозвался Константин Петрович, – материалистические определения жизни и, следовательно, самого человека, мне как-то не слишком импонируют. Что называется, не по нутру. Они уравнивают нас с бессловесными тварями. Ставить на одну доску человека и корову или даже – человека и амёбу? Фу! Мне куда ближе идеалисты. Помните, у Прокла: «Человек есть душа, пользующаяся телом, как орудием»? Не находите, это более достойное определение неповторимой человеческой личности? Сводить же всё к пресловутым белкам и аминокислотам...

– Бросьте! – прервал его Костромиров. – Душа, личность... Вы что же полагаете, что, говоря, «я», человек думает, будто у него в голове притаилось еще одно махонькое существо с таким именем?... Наше «Я» или, если угодно, наша «душа», «личность», «сознание» – не более чем сложнейшее взаимодействие мозговых процессов. Хотя и уникальное для каждого человека, но подчиняющееся общим физиологическим законам. И, заметьте, взаимодействие это куда как легко нарушается в результате болезни или той же белой горячки, – Костромиров щёлкнул ногтем по бутылке. – Разве душевное заболевание не приводит, в конце концов, к распаду личности? Теперь подумайте: коли даже внутренние – порой, незначительные – телесные недуги влекут за собой необратимые последствия для нашего «Я», что же говорить о случаях абсолютного физического уничтожения внешней его оболочки? Полный распад тела неизбежно влечёт за собой столь же полный распад духа!.. Впрочем, даже средневековые схоласты, искренне веровавшие в то, что дух и после физической смерти продолжает существовать отдельно от тела, не решались назвать это бессмертием. Они понимали это, как некое «погребение в Божестве», эдакое растворение в Мировом Разуме, в «Ничьей Обители», где, как писал Экхард, душа умирает наивысшей смертью, ибо утрачивает все свои вожделения, и все образы, и всякое разумение, и всякую форму, и от неё отнимается всякая сущность...

– Звучит тоскливо, – пробормотал Сопоткин. – Слушая вас, поневоле начинаешь понимать Эмпедокла... Знаете, того, что бросился в кратер вулкана из одной лишь чёрной меланхолии...

– Дионисий Каргузианский, Таулер, Рюйсбрук, Иоанн Скотт Эриугена, Ангелус Силезиус, – продолжал между тем Горислав Игоревич, энергично и беспорядочно тыча трубкой куда-то в сторону зарослей бузины, отчего казалось, будто названные богословы именно там и попрятались, – все они в конце концов приходили к неизбежному выводу о том, что освобождённый от брэнного тела дух (или мистическое ядро всякой твари) погружается в первозданную тьму, в непостижимую и невыразимую «божественную единность», дабы себя там утратить и затеряться в этом «пустынном Божестве», быть поглощённым им до «полной безвидности». Ну и чем, по-вашему, подобное, с позволения сказать, «существование» отличается от смерти? Вы, я надеюсь, не станете отрицать, что пресловутый Мировой Разум – не более чем наша фантазия. А успокаивать себя мыслью, что ты после смерти продолжаешь жить в собственной фантазии, – значит заниматься словесной эквилибристикой.

– Скажите, – прервал его писатель, – а такие взгляды не заставляют вас бояться смерти?

– Чего ради?

– Ну как же! Разве вы не находите, что сознание невозможности посмертного существования, в каком бы то ни было виде, должно усугублять страх смерти? Ведь, выходит, что червям достанется не только наше брэнное тело, но и всё прочее. Тогда уж действительно – ни цели, ни смысла.

– Отнюдь, – спокойно отозвался Костромиров. – Думаю, вы со мной согласитесь, что смерть – не есть факт сознания. Разве вы лично в состоянии представить себе мир, в котором вас нет? Верно ведь – это выше понимания? Также как и бесконечность Мироздания. Констатировать факт – да, но осознать – нет! Так к чему же страшиться того, что никоим образом не сможет вас затронуть, заставить страдать? Смерть близких людей на самом деле потрясает, но собственная... Уверю вас, умерев, вы нисколько не будете потрясены. Или, иными словами, ничего не почувствуете. Рассказывают, когда у Фонтенеля на смертном одре спросили, как он себя чувствует, старик немедленно отдал концы со смеха... М-да, с этой точки зрения, выражение «*apres moi le deluge*» действительно имеет некоторый смысл... И потом, даже если на минуту допустить, что душа-сознание в отличие от брэнного тела бессмертна... Разве такая перспектива не должна страшить ещё больше?

– Это ещё почему?

– Так ведь навряд ли стоит всерьёз рассматривать анимистические фантазии древних, всерьёз верить, будто наш отлетевший дух станет эдакой прекрасной бабочкой порхать по асфоделевым лугам волшебного Потустороннего Мира... Это же должно быть бессмертие, напроць лишённое тела, его сил, его наслаждений, его живого опыта, всех его возможностей... Только представьте себе, что вы однажды очнулись в тесном гробу, представьте себя заживо погребённым: вы не в силах двинуть ни одним членом, пошевелить пальцем, до вас не доходит ни малейшего звука, ни единого луча света; вообразите себе, что вы слепы, глухи, парализованы... навеки! Притом – о, ужас! – не потеряли способность мыслить. Не будет ли это страшнейшим из всех возможных наказаний? Можно ли представить нечто худшее, нежели быть приговорённым к *такой* вечности? Не значит ли это обречь наше сознание на такую муку, в сравнении с которой адские мучения покажутся совершенным пустяком, походом к зубному врачу?.. Уверю

вас, люди не жаждут бессмертия. Во всяком случае, подобного. Они просто не хотят умирать. Они хотят жить и наслаждаться всеми радостями жизни. Хотят чувствовать, обонять, осязать, видеть, любить. Но не быть на веки вечные заточёнными в пустой гробнице Мирового Ничто, до скончания времён терзаться собственным абсолютным бессилием, быть лишёнными даже милосердной возможности самоубийства...

– Тем не менее, вы меня не убедили, – вновь прервал его Константин Петрович. – И хотя я согласен с тем, что мир конечен, по крайней мере, наш мир, ибо всё имеет свои границы, но до той поры, пока ещё, к счастью, продолжают существовать явления, недоступные для понимания человека, хотя бы и вооруженного наукой, пока ещё не всё измерено, исчислено и взвешено в этом мире, до той поры будет существовать и вера в Необъяснимое... Это, кстати, касается и призраков. Вам не случалось самому их наблюдать? Нет? А вот мне раз довелось...

– Неужели? Может быть, расскажете?

– Как-нибудь в другой раз, слишком долгая история. Кстати, вам известно, что и на этом заброшенном сельском погосте тоже водятся привидения?

– Вот как? – опять удивился Костромиров. – И откуда же это известно вам?

– Дело в том, что я успел познакомиться и даже довольно близко сойтись со здешним смотрителем, проще говоря, кладбищенским сторожем, неким Томом О’Тулом. Преинтереснейшая личность, я вам доложу. Между прочим, утверждает, что он потомок королей...

– Ерунда, – пренебрежительно махнул рукой Горислав Игоревич. – Какого ирландца ни спроси, каждый мнит себя потомком королей.

– Это верно, – смеясь, подтвердил Сопоткин. – Если и не каждый, то каждый третий – точно. Хотя, надо заметить, доля истины в этом, как ни странно, тоже наличествует. Вы ведь наверняка знаете, что с раннего Средневековья и до самого завоевания в Ирландии на любой данный момент насчитывалось не менее двух сотен королей? И это притом, что население всегда составляло гораздо менее полумиллиона человек. Неудивительно, что потомство этих королей, особенно учитывая их беспорядочные связи, разрослось до прямо-таки устрашающих размеров.

– Феерично, – отозвался Костромиров, невозмутимо попыхивая трубкой. – Но вы что-то упомянули о местных призраках...

– Ах да! Ну, так вот... Этот самый мистер О’Тул оказался большим знатоком ирландских легенд и преданий, как давнишних, так и относительно современных. Он-то мне и поведал о здешней достопримечательности – так называемом *Безголовом Призраке* или *Ужасе Чейплизода*. За очень скромное вознаграждение поведал. Умеренное, по крайней мере.

– Уже интересно. «Ужас Чейплизода» – это надо же! Я всегда знал, что в душах кладбищенских сторожей таятся неизведанные глубины. Прошу вас, Константин Петрович, не тяните, рассказывайте, – заявил историк, поудобнее усаживаясь на скамье и в тоже время наполняя быстро пустеющий стакан собеседника.

Глава третья

Якобы заключающая в себе легенду о безголовом призраке и иных, не менее привлекательных, персонажах

Благодарно кивнув, Сопоткин сделал пару глотков, вытащил из внутреннего кармана крошечную записную книжку в изящном кожаном переплётё с золотым тиснением и откашлялся.

– Раз вас это и впрямь заинтересовало, так и быть, расскажу. Хотя, рассказчик из меня... – скромно заметил он и начал свою речь, строя её по всем правилам ораторского искусства (правда, не без лёгкой манерности слога) и иногда сверяясь с записями в книжке:

– Вам известно, что губернаторство Оливера Кромвеля явилось одной из самых постыдных и кровавых страниц в истории господства англичан над Изумрудным Островом...

– Как и всё, связанное с пуританами, – не замедлил вставить Костромиков. – Но, простите, более не буду вас прерывать. Пожалуйста, продолжайте.

– Да. Так вот, вскоре после казни Карла Первого полторы сотни английских кораблей, незадолго перед тем вышедших из Бристоля, пересекли Ирландское море и пристали к побережью севернее Дублина. Генерал Кромвель горел желанием покарать ирландцев, которые традиционно поддерживали Стюартов, даже и после падения династии. А ведомое им воинство пылало ещё большим пламенем фанатизма – верные последователи Кальвина и Джона Нокса полагали свою миссию не менее священной, чем распря Израиля с ханаанеями, а резню не признаваемых ими за христиан католиков – делом дивно великой благости и даже в чём-то безусловно милосердным... Итак, Кромвель высадился с огромной армией и двинулся на юг, разрушая, сжигая и уничтожая всё и всех на своем пути. Роялисты не могли противопоставить испытанному в сражениях английскому войску сколько-нибудь соразмерные силы и заперлись в неприступных замках и крепостях. Но – увы! Древние стены не выдерживали длительной бомбардировки кромвелевской артиллерии, и ирландские твердыни одна за другой падали к ногам завоевателя. Творимые пуританами зверства носили сугубо показательный характер и призваны были запугать жителей острова: англичане вырезали населения целых городов, заживо сжигали жителей в храмах, уничтожали «проклятых папистов», невзирая на пол и возраст. Более всего жестокостью, как, впрочем, и храбростью, отличался вождь самых непримиримых индипендентов из числа английских солдат – полковник Генри Айртон, зять «старины Нолля». Именно он первым врвался в бреши крепостных стен, именно его всегда видели в первых рядах сражающихся на поле боя, и его же – первым среди тех, кто с готовностью обгаграл свой меч в крови ни в чём не повинных мирных жителей, вешал священников и монахов, предавал огню хижины и церкви. Ирландцы прозвали его «Уэксфордским Мясником», ибо как раз после взятия этого города – Уэксфорда, когда Кромвель, проявляя по своему обыкновению похвальную экономию пороха, приказал солдатам зарубить всех оставшихся в живых – несколько тысяч человек, Генри Айртон ухитрился самолично зарезать не менее полусотни жителей. Несмотря на все эти меры, сопротивление роялистов не ослабевало и, в конце концов, удача стала изменять английскому оружию. Когда же, после поражения под Клонмелом, «старина

Нолль» был отозван в Лондон, место главнокомандующего занял его зять Генри Айртон. Впрочем, успехи аборигенов оказались вполне эфемерными – очень скоро к парламентской армии прибыли значительные подкрепления и планомерное усмирение восставших продолжилось... Надо полагать, полковник Айртон чересчур буквально воспринял слова своего тестя о том, что покорение Ирландии возможно лишь путём её уничтожения, ибо и по сей день ирландцы передают легенды, как он убивал всех мужчин поголовно в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет, отсекал руки всем детям от шести до шестнадцатилетнего возраста, клеймил груди женщин и прочие подобные ужасы. Но и действительность ушла недалеко от легенды: к концу «умиротворения» страна совершенно обезлюдела, около ста тысяч ирландцев бежали на континент и в Вест-Индию, часть (в основном молодые женщины) была отправлена на Ямайку и Барбадос и там продана в рабство плантаторам, а оставшиеся – выселены в одну провинцию, покинуть которую им было запрещено под страхом смерти. Освобождённые от коренного населения три другие провинции заняли колонисты саксонской крови и кальвинистской веры. Кстати, именно это обстоятельство – очищение страны от «мерзости идолопоклонства», – по словам ваших коллег, английских историков, способствовало в дальнейшем сугубому процветанию Ирландии...

– Сделайте одолжение, Константин Петрович, не отвлекайтесь на исторические экскурсы, – нетерпеливо воскликнул Костромиков, у которого не в меру торжественное начало легенды вкупе со словесно-семантической избыточностью вызвали опасения, что ей и через трое суток конца не будет. – Так вы никогда не дойдёте до самого интересного, до сути.

– Кажется, вы обещали меня не прерывать? – осведомился Сопоткин. – И потом, я вовсе не уйду в сторону. Напротив, почти буквально следую рассказу Тома... Ну разве что с минимальной стилистической правкой и небольшими, а потому простительными, отступлениями. Кстати, сведения для них я почерпнул исключительно из самых авторитетных источников... Вообще же, раз случилась такая оказия, мне желательно проверить воздействие литературной обработки этой легенды на постороннего, незаинтересованного слушателя. От этого зависит...

– Ещё раз простите. Мое нетерпение объясняется как раз интересом, который вызвала ваша история. Но продолжайте, продолжайте!

– Да. Так вот... – Сопоткин с видимым сожалением перелистнул пару страничек в записной книжке и в очередной раз приступил к рассказу: – События, о которых поведал мне мистер О’Тул, произошли, кажется, осенью 1651 года. В это время Генри Айртон как раз осаждал Росс – одну из немногих крепостей, ещё не покорившуюся захватчикам. Засевшими там инсургентами предводительствовал местный епископ – Оливер МакМагон... Я говорил, что полковник... то есть, тогда уже – генерал Айртон весьма ответственно отнёсся к выполнению своего долга англичанина и христианина. По мере того, как затухали последние очаги сопротивления, гнев его обращался уже и на саму природу. Война, во многом благодаря его усилиям, принимала совершенно дикий характер. Не только убивались люди, но избивался скот, чтобы не дать ещё сопротивляющемуся населению средства пропитания. Не только скот, – уничтожались посевы на корню, и для этого отряды англичан, вооружённые серпами и косами, снимали незрелый хлеб и иные полезные злаки с полей. Естественно, затем настал страшный голод,

от которого население пропадало сотнями тысяч. По дорогам валялись трупы людей, а рядом с ними умирающие, тщетно старавшиеся утолить нестерпимый голод, пожирая траву. С голодом появилась чума, приканчивавшая тех, с которыми ещё не справился голод. Быстро распространявшаяся эпидемия не обошла стороной и англичан. Солдаты массами гибли от чёрной напасти, а ещё – от дизентерии и прочих заразных хворей. Прибавьте сюда позднее время года и крайнюю усталость войск, и вы поймёте, до какой степени ожесточения дошла к тому моменту армия и какую ярость вызывала у всех крошечная крепость, которая упорно не желала сдаваться на милость победителей. Может быть, именно потому, что милости в любом случае ждать не приходилось...

Плавное течение речи рассказчика было внезапно нарушено громким хлопаньем крыльев и оглушительным карканьем – ветви старого вяза, под которым сидели Костромиков и Сопоткин, закачались, зашумели, и в небо взмыли три чёрных как смоль ворона. Большие грузные птицы опустились ниже, сделали широкий круг справа от скамейки, со свистом рассекая воздух тяжёлыми взмахами, а затем скрылись за деревьями, не переставая хрипло и раздражённо каркать.

– Дурной знак, – пробормотал Константин Петрович. – Что их вспугнуло? Ветра даже нет.

Будто в ответ на замечание литератора, сильный порыв ветра поднял и закружил опавшую листву на дорожках аллеи, тревожно зашелестел в густой зелени вяза, и на собеседников посыпались мелкие ветки и древесная труха.

– Близится вечер, – с усмешкой отозвался Горислав Игоревич, отряхивая воротник и плечи кашемирового пальто, – силам зла впору выбираться из дневных укрытий. Так не дадим же кладбищенским морокам помешать нашему учёному разговору.

– Оно конечно, – принуждённо улыбнулся в ответ Сопоткин. – Однако и правда вечереет. Так не продолжить ли нам разговор где-нибудь в другом месте? Здесь недалеко, на набережной есть очень приличный бар в викторианском стиле, даже с отдельными кабинетами.

– Ну что вы, – возмутился Костромиков, решительно наполняя стакан литератора. – Как можно! Для истории о привидениях – кладбище аккурат самое место. В пабе она потеряет всю свою прелесть. Нет уж, сделайте одолжение, продолжайте.

Константин Петрович открыл было рот, чтобы возразить, но тут же и захлопнул его, вздохнул, пробормотал что-то вроде: «Ну раз так, не буду всё портить», пригубил виски, перевернул ещё несколько страничек с золотым обрезом и принялся рассказывать дальше:

– Так вот... В окрестностях Росса лежала небольшая деревушка, дворов в пятнадцать, не больше. В одной из крайних хижин, почти на отшибе, жила некая старуха-вдова по имени Морриган О'Гилви и по прозвищу – «Окаянная Морриган». Не то чтобы она слыла ведьмой (к счастью, колдовская истерия практически миновала Ирландию), но была малость не в себе и у почтенных людей прихода на хорошем счету никогда не числилась. Во всяком случае, мало кто из соседей сомневался, что старуха знает с феями, сидами, бродячими шифрами, зловредными пэками, домовыми-боуги и прочей бездушной нежитью из «славного народца». Некоторые уверяли даже, будто не раз видели Окаянную Морриган в компании с огромным белым

котом, а вернее признака пагубной склонности к ведовскому ремеслу найти трудно. Преосвященный Оливер МакМагон, тот самый, что защищал ныне крепость, однажды чуть не отлучил несчастную свихнувшуюся женщину от Церкви, прознав о том, что она промышляет гаданием, знахарством и берётся предсказывать погоду, и сменил гнев на милость лишь после того, как Морриган вылечила у него не то стельную корову, не то супоросую свинью. Впрочем, всё это имело касательство к прежним, относительно благополучным временам, к моменту же описываемых событий в деревне осталось едва ли три двора, в которых ютились несколько чудом выживших селян, похожих на обтянутые кожей скелеты. Так что пенять старухе на её некошны занятия было особенно некому...

На этом месте рассказ литератора вновь был прерван самым неподобающим образом: откуда-то со стороны могил, из-за тёмных куп тисов и тополей совершенно неожиданно послышался странный, протяжный и вместе пронзительный звук, похожий на рыдающий вопль. В вопле этом будто слились воедино крики диких гусей, плач брошенного ребёнка и волчий вой. Он сиротливо пронёсся над кладбищем, вспугнул стайку крапивников в зарослях бузины и боярышника и столь же внезапно замер где-то вдалеке, растворился в подползающих сумерках.

– Что это было? – спросил Сопоткин, невольно хватая за рукав Костромикова и с тревогой прислушиваясь, не раздадутся ли вновь леденящие душу завывания.

– Может, птица, – неуверенно предположил Горислав Игоревич.

– Какая птица?

– Откуда же я знаю, какая? – пожал плечами Костромиков. – Орнитология – не мой конёк. Наверное, выпь.

– А здесь водятся выпы? – не унимался Сопоткин.

– Представления не имею. Но помню, что выпь – птица болотная, значит, Ирландия для неё самое место.

– И эти ваши выпы именно так кричат? – всё не успокаивался Константин Петрович.

– Как они кричат, мне достоверно не известно, – отвечал Костромиков, – но, судя по тому, что её прозвали водяным быком, пение у этой пичуги должно быть весьма своеобразное.

– Вот оно что... А я уж, грешным делом, подумал, не банши ли это предвещает кому-нибудь из нас двоих скорую смерть.

– Банши? – удивился Костромиков. – Про банши я, признаться, и не вспомнил... Вот что значит художественное воображение! Впрочем, кажется, плач банши может слышать лишь тот «счастливчик», к кому он обращён, мы же с вами оба внимали этим тоскливым завываниям...

– Напротив, легенды гласят, что человек, чья смерть предвещается, как раз и не в состоянии услышать или увидеть банши. Обычно её наблюдают близкие родственники или друзья будущего покойника, – возразил Сопоткин.

– Ещё лучше. Следовательно, при любом раскладе, эта уродина не нам пророчила безвременную кончину, – хладнокровно заметил Костромиков.

– Уродина? Почему – уродина? – с тревогой поинтересовался Константин Петрович. – Вы что-нибудь видели? Заметили?

– Ничего я не заметил, – успокоил литератора Костромиков. – Просто мне почему-то вспомнилось, будто этих самых банши обыкновенно

изображают именно в виде уродливых косматых старух с бросающимися в глаза физическими недостатками.

– Нет, не всегда... – отозвался Сопоткин. – Но вы правы. К нам это не может иметь отношения. Ведь банши – это привилегия наиболее древних и почтенных родов острова.

– Какое облегчение! – ухмыльнулся Костромиров.

– Понимаю вашу иронию, Горислав Игоревич, – сказал Сопоткин. – Тем не менее, вы ещё не оставили мысль дослушать повесть о Безголовом Призраке именно здесь и сейчас?

– Ни в коем случае! – горячо запротестовал Костромиров. – В другой, менее подходящей обстановке она лишится половины своего очарования. Разве вам не кажется, что эта печальная местность как нельзя лучше подходит для таинственных историй? Можете мне поверить, могильные кресты в сгущающихся сумерках способны даже бухгалтера или такого закоренелого скептика, как ваш покорный слуга, настроить на суеверный лад и расположить к обманчивой игре воображения.

– Воля ваша. Тогда слушайте... – Константин Петрович, не глядя, перевернул сразу пять или шесть страничек записной книжки, а после секундного размышления – еще парочку, явно решив, что краткость – сестра таланта. Но, прежде чем продолжить рассказ, поинтересовался: – Скажите, Горислав Игоревич, в бутылке ещё осталась толика вашего чудодейственного напитка?

Костромиров молча продемонстрировал бутылку, в которой плескалось не менее пинты живительной эссенции, наполнил опустевший стакан Сопоткина и принялся аккуратно чистить трубку в ожидании обещанного продолжения.

Сопоткин сделал изрядный глоток и ознобливо передёрнул плечами. Вечер вовсе не был холоден, напротив, несмотря на сырость, погода стояла на удивление тёплая, в воздухе чувствовалась даже совершенно несвойственная этому времени года влажная духота. Но Константину Петровичу было как-то не по себе: в самой здешней атмосфере ощущалось давление неведомой скрытой угрозы, ему чудилось, будто некие злобные силы скапливаются под сенью могильных тисов, среди смутных очертаний крестов, склепов и надгробий, медленно и неуклонно подкрадываются к нему под хмурым, предостерегающим взглядом небес, и от всего этого Сопоткина невольно бросало в дрожь, пронимало холодом до мозга костей. Собственный ли рассказ так повлиял на Константина Петровича или чуткое воображение его разыгралось под воздействием паров *aqua vitae* щедрого на угощение историка, он и сам толком не понимал. Однако про себя решил максимально сократить дальнейшее повествование, избегать ненужных деталей и лирических отступлений, ограничившись только основными, самыми существенными моментами.

– Итак, после изнурительной для обеих враждующих сторон двухнедельной осады гарнизон Росса согласился наконец вступить в переговоры о капитуляции. Это было двойной ошибкой: во-первых, Айртон подумывал уже об отступлении, а во-вторых, инсургенты не приняли в расчёт личность Уэксфордского Мясника. Дело в том, что генерал вовсе не являлся джентльменом. Напротив, он в совершенстве усвоил те ужимки чопорного ханжества, которые и поныне не могут не вызывать отвращения в представителях всевозможных методистских, баптистских и прочих

евангелических сект, и был, как болотная гадюка, исполнен яда злобной нетерпимости. Иначе говоря, Айртон обладал всеми качествами истинного пуританина – лицемерием святоши, религиозным фанатизмом и крайним вероломством – самыми необходимыми и пользительными, по мнению пресвитерианского духовенства, признаками настоящего христианина. Оттого, надо полагать, и получилось так, что, покуда вожди ирландцев оговаривали с Айртоном условия сдачи, английские солдаты, повинувшись тайному распоряжению своего командира и воспользовавшись утратой осаждёнными бдительности, ворвались в крепость. Здесь повторились те же ужасные сцены повальной резни, что и в Дрогеде, Уэксфорде и прочих городах. Получив приказ не брать пленных, англичане устроили защитникам безжалостную бойню. Даже те немногие, кого пощадили пресыщенные кровопролитием солдаты, на следующий день были хладнокровно умерщвлены по указанию главнокомандующего. Из всего гарнизона немедленной смерти избежал лишь один человек – епископ Оливер МакМагон, ибо ему Мясник готовил особенную участь. Незадолго до падения Росса, англичане, прочёсывая округу в поисках фуража и оставшихся в живых инсургентов, изловили двух католических священников, которых местные жители прятали в торфяных ямах. Вот им-то, вместе с епископом, генерал и отвёл главные роли в предстоящем глумливом спектакле. Если верить докладу Айртона, направленному им в Парламент, зрелище вышло «прекрасным, душеполезным и блистательным»: епископа и священников, всех – в полном облачении, поместили на широкую повозку без бортов, сделанную специально для этой цели, и доставили к воротам крепости. Здесь на шею каждому была накинута веревка, конец которой привязали к перекладине ворот, не очень высоко. После таких приготовлений преосвященного МакМагона заставили отслужить торжественную мессу, а двоих несчастных попов – ему прислуживать. Как только обедня кончилась, палач стегнул лошадей, повозка отъехала и трое клириков остались висеть. Айртон в своём докладе особо отметил тот момент, что солдаты ещё долго после казни поддерживали епископа и священников за ноги, но не из кощунственной жалости, а для того, чтобы не дать проклятым идолопоклонникам помереть слишком быстрой смертью, предоставить им возможность раскаяться в собственных грехах и проникнуться осознанием милосердия Божия... К слову сказать, я выяснил, что не так давно, в семидесятых годах, епископ Оливер канонизирован Папой Пием Шестым. И если вы не правы в вопросе о посмертии, то ему должно быть это утешительно... Но к чёрту отступления! Продолжаю... В достаточной мере насладившись «душеполезным зрелищем», генерал Генри Айртон сел на коня и в сопровождении офицеров свиты направился в лагерь. Едва он однако отъехал на несколько шагов от крепостных ворот, как прямо перед ним на дорогу выскочила какая-то оборванная старуха и схватила коня под уздцы. Откуда она тут взялась, никто не видел, но то была, конечно, вдова Морриган О'Гилви. Окружавшие генерала офицеры разразились негодующими возгласами и проклятиями, лошади в страхе заржали, взбрыкнули и поднялись на дыбы. И было отчего! Эдакой безобразной старой карги никто отродясь не видывал (я разумею офицеров, а не лошадей). Она более походила на альрауна, нежели на женщину. Но, как я уже говорил, Генри Айртон не боялся никого: ни человека, ни дьявола. Он замахнулся на старуху плетью и закричал: «Ах ты, грязная ирландская скотина! Прочь от меня, горбатая тварь!» Морриган и в самом деле была

горбата; добавьте к этому худое, изжелто-бледное лицо, огромные, горящие безумием глаза, растрёпанные седые лохмы, шею, кривую и свёрнутую набок, будто у тех висельников, что остались болтаться в воротах замка, и вы поймёте, отчего всех, кто её видел впервые, брала оторопь и бросало в дрожь от страха. «Клянусь источником Дагды, рукой Нуаду и оком Балора! – прокаркала старуха на гэльском наречии. – Не минет и трёх ночей после Самайна, как поплатишься ты за гнусное своё преступление и бесчинство! Быть тебе без головы!» Генерал, понятное дело, ничего не смог разобрать из этой тарабарщины, но в его окружении оказался один пресвитерианский проповедник, некто Иезекииль Флитвуд, который немного понимал по-ирландски, а помимо того, премного разбирался в ведовстве. Дело в том, что сей праведник в офицерском мундире прибыл на поприще воинской славы прямиком из Шотландии, где довольно долго подвизался в качестве эксперта по малефициуму и охотника за ведьмами. При его деятельном участии в этой стране было отправлено на костёр великое множество людей по обвинению в колдовстве. Особенно Флитвуд прославился тем, что ухитрился в одной деревеньке близ Бервика, где имелось всего лишь четырнадцать дворов, сжечь ровно такое же количество человек. Никто лучше его не знал, по каким именно признакам и с помощью каких испытаний можно распознать настоящую ведьму; эта отрасль священного знания была изучена им в совершенстве. Так вот, упомянутый Иезекииль...

Тут Константин Петрович запнулся, пошелестел страницами записной книжки и смущённо произнёс:

– На этом месте у меня предусмотрено небольшое отступление на тему происхождения имён праведников той эпохи. Сведения для него я почерпнул у Маколея, Уокера и, отчасти, Юма... Но, пожалуй, я его опущу...

– Нет, отчего же? – живо возразил Костромиров, несомненно решив проявить благородное великодушие и загладить собственную первоначальную несдержанность. – Это должно быть любопытно. Тем паче, что с Юмом я знаком лишь поверхностно, а Маколея и Уокера не читал вовсе. Кроме того, если вы станете делать пропуски, разрушится целостность впечатления от рассказа.

– Вы так полагаете? – спросил Константин Петрович, с сомнением поглядывая на стремительно темнеющий небосвод. – Ну что ж, извольте...

– Ведь, отступление-то короткое? – поинтересовался Костромиров с долей беспокойства.

– Крошечное, – успокоил его Сопоткин.

– В таком случае, я – само внимание, – заверил своего визави Горислав Игоревич и со звучным хлопком вытащил пробку из бутылки с *Irish whisky*.

Глава четвёртая

И в самом деле рассказывающая о безголовом призраке и сопутствующих персонажах

— Известно и даже общепринято мнение, будто именно знакомство широких масс народа с древнееврейской литературой, то есть Библией, и вызвало в Англии бедствие, которое обыкновенно называют Реформацией, – начал Константин Петрович. – Ведь виновник и зачинщик раскола, женоубийца Генрих Восьмой, несомненно являлся ортодоксальным католиком

во всём, кроме того, что хотел быть сам себе Папой Римским. Ко времени же Республики кальвинистский шабаш гудел в полную силу. И неудивительно: уже без малого век минул с той поры, когда ядовитое дыхание женевского дьявола достигло берегов Шотландии, мигом обратив если и не цветущий, то не чуждый здоровому жизнелюбию край в удел самого мрачного и отвратительного ханжества на Британских островах. Зараза стремительно распространялась. Как следствие – в интересующую нас эпоху и к югу от берегов Твида одно воспоминание осталось от «старой доброй Англии», Англии Бэкона и Мора. Реформация достигла своего наивысшего пика, а Библия стала единственной книгой, знакомой всякому англичанину. В храмах торжественное и красочное богослужение заменилось постоянным чтением Ветхого (и в меньшей степени – Нового) Завета, в котором с восторгом неопитов упражнялись и соревновались не только пастыри, но и паства. Упразднялось и прежнее великолепие священнических облачений, сама же месса модифицировалась до неузнаваемости: исчезло многое из того, что было оставлено даже Лютером от традиционной обедни, остались лишь пение псалмов и молитвы, превращавшие литургию в нестройную хоровую композицию. Из церквей были удалены последние напоминания о католическом культе: свечи, орган, алтарные образа (статуи святых уничтожили значительно ранее). Храм в реформатской Англии окончательно лишился ореола святости, став простым молельным домом. В повседневной жизни строгие предписания касались соблюдения Декалога вкупе с прочими догмами Ветхого Завета, чтения молитв и духовных гимнов, поддержания высокой нравственности. Маленькие женевские Библии проникли в каждый дом и каждую семью, всюду слова Писания вызывали трепет и поражали слух. Слух, не притуплённый привычкой к чтению, ибо в ту эпоху для целого народа не существовало на родном языке ни истории, ни романа, ни почти никакой поэзии, кроме малоизвестных произведений Чосера и Томаса Мэлори. Суровые еврейские легенды, кровавые сказания, псалмы и пророчества крапивным семенем упали в умы, счастливо незатронутые иным знанием. И именно Библия явилась источником и вдохновительницей довольно комичной моды на изменения личных имён. Мнимые праведники революционной эпохи имели обыкновение отказываться от таких имён, как Генри, Эдуард, Энтони, Уильям, которые они находили языческими, и принимали другие, окружённые ореолом особой святости и божественности. Даже имена, восходящие к Новому Завету – Джеймс, Эндрю, Джон, Питер, – внушали им гораздо меньшее благоговение, нежели ветхозаветные Аввакум, Иешуа, Неемия или Зоровавель. А порой целое благочестивое речение употреблялось в качестве имени. Вовсе не редкостью было встретить какого-нибудь *Истребляй Грех Эбенизера из Уитема* или же – *Уповай на Господа Исаяю*. Например, у того же Генри Айртона имелся адъютант, которого звали *Если бы Христос не умер за тебя, ты был бы проклят, Джошуа*. Но произносить каждый раз столь длинное имя было чрезвычайно утомительно, и сослуживцы, удержав из него лишь последние слова, называли этого чудака *Проклятый Джошуа*. Современники утверждали, что в результате можно было подумать, будто Кромвель завербовал в своё воинство чуть ли не весь Ветхий Завет, а по именам солдат армии Айртона легко изучать родословие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Так что во время переключки, вместо списка личного состава, вполне, дескать, возможно обойтись первой главой Евангелия от Матфея. Происхождение

замечательного имени названного Иезекииля Флитвуда имело аналогичные библейские корни. Ранее он звался просто Томом – Томасом Арчибальдом Шериданом Ле Ардага Макгроган-Флитвудом...

– Замечательный этюд! – воскликнул Горислав Игоревич, решив превратить рассказчика и вернуть историю в сюжетное русло, покуда тот вовсе не растёкся мыслию по дереву.

– В самом деле? Вам так кажется? – заулыбался Сопоткин.

– Можете быть уверены, – отозвался Костромиров. – Только вот мы с вами опять отвлеклись.

– Вы правы, друг мой! – с воодушевлением воскликнул Константин Петрович, которому выпитое уже слегка ударило в голову, изгнав былые страхи и полностью вернув самообладание. – Правы, черт побери! Пора заканчивать. Того и гляди, совсем стемнеет...

Сумерки, и правда, быстро подступали. Уже зажглись один за другим редкие фонари на обочинах кладбищенской аллеи, отчего тьма за пределами отбрасываемых ими световых пятен сделалась плотнее и гуще; на небе загорелись первые, ещё тусклые звёзды, а разлитая в атмосфере влажная духота стала сменяться столь же влажной прохладой.

Скамья, на которой сидели Костромиров и Сопоткин, стояла на значительном удалении от ближайшего фонаря и находилась, таким образом, в сумеречной зоне. Это прибавляло таинственности их разговору, но то же обстоятельство позволяло обоим собеседникам весьма ясно различать окружающую обстановку, что было бы невозможно, располагайся скамья на освещённом участке.

И вот, в то самое время, когда литератор готовился продолжить своё сказание и в очередной раз в целях красноречия промачивал горло «водой жизни», Горислав Игоревич зачем-то оглянулся назад и сразу же обратил внимание на маленький дрожащий огонёк, быстродвигающийся среди тёмных контуров могильных памятников. Судя по колеблющемуся и то и дело пропадавшему свету, это мог быть фонарик в руках человека, бродящего по извилистым тропкам между надгробий. Костромиров удивился и даже готов был спросить себя, не обман ли это чувств, но в голову ему тут же пришла мысль, что, вероятнее всего, он наблюдает кладбищенского сторожа, просто-напросто совершающего вечерний обход своих владений. Правда, какая необходимость – пусть даже и сторожу – шастать в темноте среди покойников? Для подобной таинственности должны быть действительно серьёзные и веские причины. Горислав Игоревич ещё не успел решить этого запутанного вопроса на совещании с самим собой, когда Сопоткин наконец заговорил:

– Так вот, упомянутый Иезекииль Флитвуд почтительнейшим образом обратился к генералу и предложил немедленно бросить Окаянную Морриган в ближайший водоём, посмотреть: потонет она или всплывёт? Вместо ответа, Генри Айртон сурово поглядел на старуху и гаркнул: «Женщина! Заклинаю тебя именем Господа, скажи правду: ведьма ты или нет?» Вдова ещё крепче ухватилась за поводья генеральской лошади (откуда только взялись силы в этом хилом и истощённом теле?) и принялась молотить языком и изрыгать гэльские проклятия, что твоя ветряная мельница. Тут уж и самому распоследнему тупице стало понятно, что перед ними настоящая колдунья, а никакая не добрая христианка. Но Уэксфордский Мясник любил порой выказать собственную непредвзятость и беспристрастность,

поэтому вторично спросил разбушевавшуюся старуху: «Говори, мерзкая стрига и дьяволица! Говори, сатанинское отродье, знаешь ли ты с нечистым? И смотри, отвечай всю правду, дабы мы могли поступить с тобой сообразно и по справедливости». Только Морриган О'Гилви лишь ухмыльнулась на эти слова и прохрипела, нещадно коверкая английскую речь и вращая налитыми кровью глазами, что её, мол, совесть чиста пред лицом Господа, а вот ему – Генри Айртону – вскоре предстоит держать ответ перед своим хозяином – Велиалом. И она, дескать, готова поклясться причиналами святого Вонифатия, непорочным лоном Пресвятой Девы и беззаконным призом Иродиادیной дочери, что не минет и трёх ночей со Дня Всех Святых, как он получит сполна за свои злодеяния. Все, кто наблюдал эту сцену, были уверены, что сразу после столь нечестивой божбы грянет гром и десница Всевышнего поразит с небес проклятую ведьму, а обитаемое дьяволом тело вспыхнет серным огнём, распадётся в прах и обратится в смердящий пепел. Однако, как ни странно, ничего такого не произошло. Старуха же не ограничилась хулой и проклятиями и вдобавок плюнула прямо в лицо генералу. К счастью, верный Флитвуд вовремя заметил гадкое намерение Морриган и самоотверженно заслонил собой командира...

Горислав Игоревич с интересом слушал Сопоткина, но мысли его невольно то и дело обращались к виденному минуту назад странному свечению. Сей блуждающий огонёк разбудил в его душе всесжигающее пламя любопытства, и теперь Костромирову постоянно приходилось бороться с искушением обернуться и посмотреть, по-прежнему ли маячит среди могил призрачный свет или исчез столь же загадочно, как появился.

Таковые раздумья вовсе не способствовали сосредоточенному вниманию, и Костромиров вынужден был наконец пренебречь правилами приличия, отвернуться от рассказчика и кинуть взгляд назад. Никаких огней видно больше не было, не наблюдалось и ни малейшего движения среди седых надгробий; испещрённые ими пологие кладбищенские косогоры смотрелись вполне умиротворённо и безмятежно, да и вся местность дышала отрешённым, можно сказать, *мертвенным* покоем. Багровая полоска заката совсем истаяла; из-за верхушек деревьев выкатилась тусклая луна, и сумерки сделались не такими непроглядными. Но откуда-то со стороны Лиффи, из-за гряды Палмерзтаунских холмов, ползли уже блёклые ручейки тумана, похожие на призрачные щупальца или лапы мифического Бриарея, – казалось, древний погост распостёр перед ним дружеские объятия, гостеприимно предлагая выбрать для себя любой из свободных уголков.

Горислав Игоревич пожал плечами и вновь обратился лицом к рассказчику. Тот, впрочем, вовсе не заметил неуместной суетливости слушателя и, как ни в чём не бывало, продолжал повествование.

– ...неизвестно, что послужило тому причиной – испытанное ли отвращение или что иное – только Флитвуд, точно сражённый вражеской пулей, вылетел из седла, упал на землю и принялся корчиться и извиваться, будто червяк, на которого любознательный школяр капнул кислотой. А старуха зашлась свирепым каркающим смехом, разинув беззубую пасть так, словно собиралась проглотить живьём сэра Генри вместе с его лошадей. Это отвратительное зрелище привело окружавших генерала офицеров в совершенное неистовство, и они стали наперебой требовать у своего командира немедленной расправы над ведьмой. Сама же безумная вдовица лишь мерзко

хихикала и приплясывала, с ужимками, не менее безобразными, чем корчи павшего проповедника. При этом она не забывала, как и прежде, изрыгать самые ужасные гэльские проклятия в адрес Уэксфордского Мясника и клясться «фаллосом Фергуса, костью лосося, которой подавился Кормак, и ядовитым копьем Энгуса» в том, что незаконный губернатор Ирландии ни за что не сумеет долее, чем на три дня пережить Ночь Священного Хаоса и вскоре лишится головы. Впрочем, стоило сэру Генри вытянуть её плетью, как старуха тотчас оставила кривляния и с воем отскочила в сторону, но уздечки из рук не выпустила. Флитвуд к тому времени уже малость оклемался от своего необъяснимого припадка падучей болезни, поднялся на ноги и со всей ответственностью заверил генерала, что, ежели ведьму, дескать, немедля не спалить живьем в бочке из-под дёгтя, то последствия для христианской веры могут быть самые печальные, а возможно, и необратимые. В ответ на это вдова остервенилась пуще прежнего и, как обыкновенно говорят в таких случаях поэты, *изронила зловещее слово*. «И ты, ложный пастырь, не останешься без возмездия! – вопила О'Гилви, тыча корявым, будто корень сикомора, пальцем чуть не в самый лоб Флитвуда. – Обрекаю тебя *Проклятию Тройной Смерти*, ибо ты, кровавый душегуб, вернёшься сюда как пёс на свою блевотину и, поражённый свинцом, утонешь, чтобы сгореть! Останкам же твоим вовек не обрести покоя, и праху не быть погребённым!» Вероятно, это явилось последней каплей, переполнившей чашу терпения Генри Айртона, потому как он мгновенно выхватил широкий кавалерийский тесак, висевший рядом с седельной сумкой, и одним махом напрочь срубил голову бесноватой старухе...

Так, если верить мистеру О'Тулу, закончила свой земной путь Окаянная Морриган. И, хотя сей почтенный служитель Гекаты наверняка бы со мной не согласился, вряд ли возможно отрицать, что она приняла смерть, которую сама на себя накликала. Ведь известно, что проклятие подобно брошенному вверх камню и зачастую падает в первую очередь на голову тех, кто его произносит...

Сопоткин замолчал, чтобы промочить горло глотком ирландского нектара и сунуть записную книжку в карман – разобрать в ней всё равно ничего уже было нельзя.

– Надеюсь, это ещё не конец истории? – сдержанно поинтересовался Костромиров. – Где же обещанные сгустки бродячей эктоплазмы? Где неприкаянные духи и докучливые полтергейсты? Покамест ни о каких призраках я не услышал.

– Не волнуйтесь, о них речь впереди, – успокоил его Константин Петрович. – Я приступаю к самому интерл... интерлес... к интригующему финалу!.. К тем событиям, о которых мне как раз и поведал здешний смотритель, – добавил литератор, не замечая лёгкого противоречия с собственными заверениями в том, что *вся легенда* будто бы обязана своим происхождением незаурядной памяти или воображению кладбищенского сторожа.

Костромиров, успевший за время рассказа не только прочистить, но и набить, а после не спеша раскурить трубку, тотчас отвёл это орудие услуждения в сторону и приготовился внимать «интригующему финалу». От него не ускользнуло, что язык рассказчика начал малость заплетаться, но данное обстоятельство его нисколько не смутило – Горислав Игоревич рассчитывал, что подогрев лишь поможет красноречию литератора воспарить на ещё большую высоту.

– У меня нет сомнений в том, что старик О'Тул поведал мне *сущую правду*, – продолжил Сопоткин, вытирая губы клетчатым носовым платком, – точнее в том, что он сам безусловно верил каждому своему слову. Как историк, вы должны согласиться – в ряде случаев это почти одно и то же. Так вот, повторюсь: ко всем событиям, о которых будет идти речь, мистер О'Тул относился и относится с той же верой, что и к любому догмату своей религии. Это, естественно, не помешало мне предпринять собственные изыскания, которые во многом любопытным образом дополнили его рассказ, хотя и не во всём его подтвердили... Итак, как только голова Окаянной Морриган скатилась с плеч, сэр Генри велел подать ему сей кровавый трофей и, прицепив её за седые космы к луке седла, со смехом заявил, что непременно заберёт голову с собой в Лимерик (к осаде которого англичане как раз собирались приступить) – мол, уродливая личина эта окажет на защитников города такое же действие, как голова горгоны Медузы на Полидекта, то есть заставит пасть на колени и обратит в камень. В тот же день войско выступило из графства Керри в Нижний Шеннон, для уничтожения последнего очага сопротивления инсургентов. Однако, прежде чем англичане добрались до Лимерика, предсказания, точнее, проклятия ведьмы стали сбываться. Перво-наперво отдал Богу душу Его верный слугитель – Иезекииль Флитвуд, и произошло это, как ни странно, в точности по словам старухи. А ведь никто, естественно, не поверил, что человек одновременно может принять смерть от оружия, воды и огня. Тем не менее, именно так всё и случилось... Приказом генерала Айртона лейтенант Флитвуд был прямо с похода направлен в Корк с обозом награбленных ценностей – конфискованным имуществом «Ваала и Нимврода», то есть духовных и светских властителей, и по дороге ему, волей-неволей, пришлось пересечь Керри и миновать замок Росс. В результате военных действий и эпидемий страна значительно обезлюдела, опасаться нападения аборигенов особенно не приходилось и под началом у Флитвуда имелся только десяток драгун во главе с капралом... Однажды наступающая темнота застигла его небольшой отряд в глухой лесистой местности, неподалёку от слияния вод Верхнего озера с озёрами Макросс и Лох-лин. Это и сейчас довольно пустынное местечко, а уж про те незапамятные времена и говорить нечего, тогда оно могло поспорить по первобытной дикости с непроходимыми лесными дебрями Северной Америки, где-нибудь в районе Великих озер, куда, по старой пословице, и ворон костей не занасивал... Впрочем, что я рассказываю! Вы, Горислав Игоревич, может быть уже бывали в Килларни?

Костромиров заверил литератора, что ему ещё не представилось случая, да и не было возможности выбраться за пределы Дублина.

– Вот как? Обязательно съездите. *Обязательно!* – с явно нетрезвой уже настойчивостью порекомендовал Сопоткин. – Там ныне что-то вроде Национального парка. Очень красиво, особенно в это время года, осенью. Представьте себе горные склоны, насколько видит глаз, покрытые пёстрым листовым ковром, прямо-таки океаном листвы, расцвеченной всеми красками и оттенками; нежную игру света и тени, небольшие водопады... а берега озёр кажутся алыми от множества опавших плодов земляничного дерева... Кстати, вы не в курсе – это эндемик или завезённый вид, типа пальм и бамбука? А то у меня со всей этой флорой просто беда... Не знаете? Обидно. Никак не соображу, вставлять мне их в рассказ или нет.

– Понятия не имею. Поройтесь в справочниках, – предложил Костромиров и тщетно попытался сдержать отчаянный зевок. – Так что же всё-такистряслось с Флитвудом?

– Ах да. Я, кажется, отвлекся... Так вот, лесная дорога, по которой тащился обоз, была довольно широкой, выглядела безопасно и на ней не приходилось бояться наступления темноты. Так что лагерь вполне можно было разбить и здесь. Но всё-таки подобная перспектива не слишком вдохновляла лейтенанта и его подчинённых. Они предпочли бы хоть какое-нибудь жильё, чтобы заночевать под крышей, а не под чистым небом. Тем более, что чистым его как раз назвать было нельзя – стоял конец октября, самое дождливое время в сей части света. Но короткие и унылые осенние сумерки почти миновали и, по мере того как свет становился всё более тусклым, а окружающий лес всё чернее и чернее, Флитвуд всё яснее понимал, что остановки не миновать, в противном случае ничего не стоило сбиться с пути, да и лошади нуждались в отдыхе. Он совсем уже было собрался отдать приказ располагаться на ночлег и составлять в круг обозные телеги, когда невдалеке, за деревьями блеснул огонек. Это обстоятельство вселило в душу лейтенанта слабую надежду, и он велел двигаться вперёд. Действительно, не далее, чем через полмили отряд наткнулся на жильё. Открывшееся их взорам придорожное строение не походило на жалкие лачуги местных селян, скорее оно напоминало длинный, крытый соломой глинобитный барак; в единственном оконце этого барака мерцал свет, который ранее и привлёк внимание Флитвуда. Лейтенант отыскал дверь, что в темноте было не так легко, и пинком распахнул её. Как ни странно, в доме не оказалось ни души. Хотя в центре пустого помещения, в некоем подобии обложенного диким камнем очага ярко пылал огонь. Флитвуд решил, что жильцы заслышали приближение обоза и скрылись, что было вовсе не удивительно. Короче говоря, ночлег был обретен, и христово воинство смогло расположиться с относительным удобством. Во всяком случае, сверху их не поливал дождь, а с боков не продувал холодный осенний ветер. Флитвуд распорядился затащить в дом бочонок пива, задать корм лошадям и озаботиться приготовлением вечерней трапезы. Как только с ужином было покончено, лейтенант скомандовал отбой, естественно, не забыв выставить двух часовых и поручив капралу следить за их сменой... за их сменой... – Константин Петрович неожиданно запнулся и растерянно посмотрел на Костромирова. – Кажется, я упустил какую-то важную деталь... Какую же? Забыл... Экая жалость – невозможно воспользоваться записной книжкой! У вас часом не найдётся фонарика?

Горислав Игоревич молча достал из внутреннего кармана пальто мобильный телефон и протянул Сопоткину; телефон оказался снабжён миниатюрным фонариком. Литератор быстро сообразил, как им пользоваться, тотчас вынул заветную книжечку и принялся листать, подсвечивая страницы узким, но достаточно ярким лучом.

Упоминание о фонарике заставило Костромирова вспомнить о загадочном источнике света, который он четверть часа назад наблюдал среди могил. Впрочем, сейчас он уже не готов был поручиться в том, что это ему не примерещилось. Для очистки совести он всё-таки оглянулся, да так и замер от неожиданности – слабый дрожащий огонёк вновь был тут как тут – то появлялся, то исчезал, мерцая настырной красной точкой между крестов и памятников. Причём, на сей раз – гораздо ближе к их скамье, так что

ошибки быть не могло, списать видение на расстройство зрительных рецепторов не имелось никакой возможности. Некоторое время Горислав Игоревич как замороженный следил за неровными движениями блуждающего светляка – тот поблёскивал метрах в тридцати от аллеи – затем решительно отвернулся. Сопоткину о своём открытии историк почёл за лучшее пока не говорить – кто знает, как таинственный *Irlight* повлияет на обострённое художественное восприятие писателя, какую пищу даст его богатому воображению. Нет, пускай-ка сначала завершит рассказ, а уж после можно и продемонстрировать ему этот зловещий огонь святого Эльма.

Глава пятая

В которой, уж наверное, речь пойдёт именно о безголовом призраке или о чём-то похожем, а равно о проклятии тройной смерти

– Ну конечно! – внезапно воскликнул Константин Петрович и звонко хлопнул себя ладонью по лбу. – Разумеется. Котёл!

– Котёл? – удивился Костромиров, поворачиваясь к собеседнику.

– Да, котёл. А, может быть, и чан.

– Значит, чан? – настороженно переспросил Горислав Игоревич, готовый заподозрить у своего *vis-a-vis* лёгкий приступ безумия.

– Именно. Я совсем о нём позабыл. Когда англичане проникли в дом, над очагом висел здоровенный такой медный котёл.

– А это важно?

– Важно, – убеждённо ответил Сопоткин. – Без котла никак. И котёл был полный, – добавил он, протягивая историку пустой стакан.

– Чем же был полон этот котёл? – поинтересовался Горислав Игоревич, с ловкой непринуждённостью исполняя роль Ганимеда.

– Водой, безусловно. Котёл был полон воды. И это обстоятельство – не считая пылавшего очага – убедило Иезекииля Флитвуда, что жилище покинуто совсем недавно, вероятно – в спешке, и причиной тому послужило приближение их обоза... Да. Несомненно. Приближение их чёртова обоза! – грозно прибавил Константин Петрович и с пугающей решительностью опрокинул в рот содержимое стакана.

– Вот оно что... Разве огня в очаге не оказалось достаточно для столь радикального силлогизма?

– Наверное. Но котёл тоже был, – продолжал настаивать Сопоткин.

– Хорошо, хорошо. Я совсем не против вашего котла, – поспешил согласиться Костромиров. – Просто хотелось бы всё-таки услышать, чем дело кончилось.

– К тому и веду, – недовольно сообщил Константин Петрович.

– Считайте, что я весь обратился в слух, – в свою очередь заверил Горислав Игоревич примиряющим тоном и стал колдовать над трубкой.

Константин Петрович хмыкнул, поднес записную книжку к самому носу и некоторое время молча водил лучом фонарика по строкам. Наконец, восстановив в памяти всё что необходимо, продолжил... Сказать правду, слог Константина Петровича стал к этому моменту немного сбивчив, а речь слегка невнятна и грешила даже непечатными оборотами, проще говоря, изобиловала обценной лексикой. Так что ожидания Костромирова относительно

воспарения красноречия рассказчика на невиданную высоту может быть и сбылись, но не совсем так, как он ожидал. Поэтому, дабы понапрасну не мучить читателя, не изводить его эвфемизмами и не испытывать его терпение многоточиями, мы позволим себе воспроизвести нижеследующий рассказ своими словами. От этого он, вероятно, потеряет в эмоциональности, зато приобретёт в благопристойности, и нас не смогут обвинить в потворствовании дурному вкусу. Кроме того, мы наконец сможем, не отвлекаясь на неблагоприятные приметы и знамения, избегая препон в виде воронов, вопящих призраков и блуждающих огоньков, удовлетворить любопытство всех желающих (буде таковые имеются) и довести до конца сказание о Безголовом Призраке, а равно иных, не менее привлекательных, персонажах.

А в том, что расхождения между сопоткинской версией этой легенды и нашей её интерпретацией минимальны (за вычетом упомянутой ненормативной лексики), читатель может быть уверен. Как и Сопоткин, мы слышали её из собственных уст Тома О'Тула (да почиет он в мире!), и также как Константин Петрович, нисколько не сомневаемся, что всё рассказанное Томом – правда, от первого до последнего слова. Порукой в том – незапятнанная репутация старины Тома. Ибо это, безусловно, был человек многих достоинств и добродетелей, недостаток же у него имелся лишь один – хотя и непростительный в глазах общества, но вполне ничтожный в нашем понимании – старину Тома редко кто видел совершенно трезвым, значительно чаще он находился малость «на взводе», а потому почти никогда не пребывал в здравом уме и твёрдой памяти.

Но вернёмся к легенде. Итак, перед тем, как расположиться на ночлег, Флитвуд принял все меры предосторожности – велел осмотреть опушку возле дома в целях обнаружения коварно затаившихся аморреев и филистимлян (то бишь – папистов), дал капралу самые строгие инструкции относительно организации караульной службы и приказал солдатам не расставаться с мушкетами. Почувствовав себя в относительной безопасности, англичане предались объятиям Морфея. Лейтенант тоже решил не терять времени даром, бросил на кучу гнилой соломы свой плащ и прилёг вздремнуть. Усталость от долгого перехода дала о себе знать – не прошло и минуты, как он погрузился в сон. Нет сомнений, что это был сон праведника, ибо бывший пресвитерианский проповедник отличался тупостью и бесчувственностью истинного назаря, следовательно мог спать столь же безмятежно, как спит любой другой человек с чистой совестью.

Однако отдых лейтенанта оказался непродолжителен. Буквально через полчаса его разбудили приглушённые голоса солдат. Несколько его подчинённых о чём-то возбуждённо спорили, и хотя они старались говорить как можно тише, шёпот их раздавался в полутёмном помещении (костёр почти потух), будто гулкое и назойливое шмелиное жужжание.

Флитвуд прислушался: разговаривали трое – капрал Джедедия Бербон, Джошуа Тревор – старый служака из числа кромвелевских ветеранов (лейтенант узнал его по хантингтонскому выговору) и один молодой новобранец по прозвищу Эбенизер Многогугнявый.

– Как Бог свят! – гнусаво бубнил новобранец. – Да воззрят очи Его на мою правоту! Не сойти мне с этого места, сэра, провалиться мне в тартарары и гореть в геенне огненной, коли там не сундук с полновесными дублонами, золотыми цехинами и двойными гинеями!

– Вот же бестолковый малый, – отвечал капрал Джедедия, – Отчего, скажи мне, Эб, ты вбил в свою пустую башку, будто там вообще что-то есть?

– Не сойти мне с этого места, сэра, – продолжал гнуть своё упрямый новобранец, – я это потрохами чувствую. Мне кажется, что дух мой подобен сейчас духу благословенного пророка Илии – он так же пылает во мне... Внутренности мои, словно сусло, что бурлит, бродит и рвётся наружу, – ещё малость и я лопну, как сосуд, в который налито молодое вино. Кости и самый остов мой потрясены, а душа алкает действия, страждет от промедления и чревата нетерпеливым желанием. Благословляю Господа, вразумившего меня – даже и ночью учит меня внутренность моя! Не иначе, сам Зиждитель подаёт мне знак...

– Уж конечно, Господу нашему нечем больше заняться, как только являть знамения такому остолопу как ты, – проворчал скептически настроенный Джедедия. – Не жрал бы столько солонины перед сном, да не натрескался бы на ночь таким количеством эля, глядишь, и брюхо бы не пучило¹.

– Прошу вас, сэра, не богохульствуйте, – встрял в разговор Джошуа Тревор. – Может, этот молокосос и болтает пустое, но не стоит недооценивать снисходительность Господа к малым сим. Вспомните, даже старый хрыч Хью Петерс² порой пророчествовал...

– Эк, куда хватил! – возмутился капрал. – Сравнил кое-что с пальцем...

– Ох, вот опять, вот снова накатило! – запричитал нараспев молодой Эбенизер, вполне оправдывая своё прозвище. – Чую, чую длань Господа Сил во чреве моём! Явный знак! Будем же покорны воле Его и не пренебрежём знамениями Его, да вознаградит он рабов своих подобно тому, как Кир Персиянин одарил Шешбацара, князя Иудина, – золотом и серебром без счёта, сосудами драгоценными, а равно иным имуществом...

– Чтоб тебе обмараться, недоумок! – громким шёпотом прокомментировал очередной провиденциальный приступ у новобранца-чревоушателя капрал Джедедия. – Ты ревёшь, будто корова в чужом хлеву. Завываешь, точно вдова над покойником. Гляди, разбудишь лейтенанта, будет тебе ужо и злато и серебро...

– Остерегись, брат Эб, – в свою очередь поддакнул Джошуа Тревор. – Негоже поминать имя Господа всуе. Время и место ли ныне для откровений? Вспомни наказ нашего лейтенанта. Разве не говорил он тебе многожды, что пророчествовать надлежит лишь перед боем, мечом препоясавшись, дабы совершать мщение над народами нечестивыми, наказание над племенами идолопоклонников – надменными мадианитянами, лукавыми идумеями, кровожадными амаликитянами и лживыми зифеями, кои именуются на тарабарском своем наречии гэлами или фениями, эринами или скоттами. Вот погоди, пойдём войной на незаконный Хорошев-Гоим, обрушимся всей мощью Божьего гнева, подобно стае акрид, на Ваала и Дагона

¹ Нельзя не заметить, что Джедедия в данном случае невольно повторяет суждения своих великих предшественников – Джеффри Чосера и Роберта Бертона. Первый, как известно, писал: «Видения – один пустой обман, обжорством порождает дурман», второй же в «Анатомии меланхолии» уже в 1621 г. говорил об «испарениях, порождаемых перееданием и пьянством и поднимающихся из желудка в мозг».

² Капеллан Оливера Кромвеля. Давид Юм именуется им не иначе, как «полоумным». Впрочем, каков хозяин, таков и слуга

папистов – богомерзкого Айлика де Бурга, графа Кланрикарда¹, тогда и благовестуй сколь душе угодно... Сейчас же предлагаю попросту взять лопату да и проверить...

– И этот туда же! – простонал Джедедия. – Ты-то хоть уймись, Джошуа. Спрячь подалеже свой полупенсовик и уймись, уймись ради всего святого!

Неизвестно, до чего бы договорились трое диспутантов, если бы лейтенанту не надоело слушать их препирательства, и он не явился перед ними будто тень Самуила перед Саулом. Предпринятый им немедленный и суровый допрос возымел тем большее действие, что капрал и оба солдата были поражены страхом вследствие неожиданности оною. Полагаем, что и внезапная болтливость ослицы не произвела на Валаама более сильного впечатления, чем суровый вид разгневанного командира на наших героев. Все трое не замедлили тотчас и подробно объяснить Флитвуду существо терзавшей их проблемы: оказалось, что старик Тревор, укладываясь спать, нашёл на земляном полу серебряную монету достоинством в полпенса, а поскольку глина в этом месте была рыхлая и носила явные следы шанцевого инструмента, бывший при этом рядовой Эбенизер и решил, что тут непременно должно быть зарыто сокровище, которое, верно, припрятали испанцы, либо французы – союзники мятежных ирландцев, а быть может – владельцы близлежащего поместья, когда спасались от стремительно наступающих индипендентских когорт. Короче говоря, впечатлительный юноша вбил себе в голову, будто у них под ногами спрятан сундук с золотыми дукатами и серебряной столовой утварью.

– Золото, говоришь? Серебро? – переспросил лейтенант и глаза его засияли под стать блеску упомянутых металлов. – Чего же медлить? Копайте, олухи! Копайте!

Если читатель решит, что такая реакция неестественна для человека, прославленного сугубой праведностью, возвышенной духовностью и чистотой помыслов, то он впадёт в распространённое заблуждение. Дело в том, что Флитвуд любил деньги ничуть не меньше, чем любой другой офицер на службе Парламента и Кромвеля. Можно сказать, он любил их как настоящий пуританин и последователь Кальвина. В этом не было никакого противоречия. Стоит напомнить, что теология женевского пастора зиждилась на учении о двойном предопределении. Второй, после ожиревшего виттенбергского соловья и ересиарха, апостол Реформации утверждал, что Бог в своём абсолютном предвидении ещё до сотворения мира предначертал каждому его участь: одним – вечное проклятие, другим, избранным – вечное блаженство. И хотя изменить этот приговор человек не в силах никакими заслугами – для Бога они не имеют цены, он «никому ничего не должен», – но Господь как бы даёт любому смертному некий знак, позволяющий понять, что именно того ждёт в жизни будущей и верно ли он исполняет своё призвание. И знак сей – не что иное, как успех или провал жизненных начинаний человека. Критерием же, помогающим определить, успешен ли тот или иной индивид или нет, является как раз степень его благосостояния. Потому-то всякий добронравный аколит евангелизма обязан любыми способами добиваться успеха, то есть умножать благосостояние. Ибо материальная прибыль – величайший дар Всевышнего. Строжайшие бережливость,

расчёт, энергия – типичные добродетели буржуа – вот всё, что необходимо при земном служении, к которому призван человек. И Иезекииль Флитвуд, будучи верным сыном пресвитерианской Церкви, свято верил сей непреложной истине: если богатство растёт – это верный признак избранности, коли умалывается – явное свидетельство грядущей гибели.

Так что нет ничего удивительного в том, что он весьма трепетно отнёсся к возможности внезапного обогащения. Флитвуд тотчас припомнил, что поблизости действительно располагаются усадьбы опальных Фицджеральдов и О’Донохью; владельцы заблаговременно покинули их ввиду приближения парламентской армии, предусмотрительно прихватив с собой всё добро. В отместку за бегство опустелые строения предали огню, но нехороший осадок – результат упущенной выгоды – остался. Почему бы этим проклятым роялистам действительно не припрятать наиболее громоздкие ценности здесь, в лесной чащобе, вдали от посторонних глаз? Тем паче, ему, Иезекиилю Флитвуду, достоверно известно, что многие более или менее состоятельные семьи ирландских аристократов и вождей кланов, вынужденные бежать перед лицом победоносного неприятеля, обыкновенно именно так и поступали. И зачастую лишь пыткой удавалось добиться от попавших в плен бунтовщиков признаний о месте, где спрятали они свои сокровища и фамильные реликвии.

Тревор и Эбенизер не заставили упрашивать себя дважды, схватили лопаты и немедля кинулись копать землю на подозрительном участке. Производимый ими шум разбудил и остальных бойцов, и они мало-помалу сгрудились вокруг старателей, узнав же о причинах, побудивших тех к столь странному на первый взгляд времяпрепровождению, также проявили заинтересованность в успешных результатах раскопок. Некоторые из наиболее нетерпеливых обнажили палаши и принялись активно помогать землекопам. Даже часовые, охваченные общим возбуждением, оставили свой пост и присоединились к товарищам.

В результате таких совместных усилий дело продвигалось быстро, и вскоре послышался глухой стук – железо наткнулось на что-то твёрдое. Радостное волнение и вполне понятный ажиотаж достигли своего апогея – кладоискатели отбросили палаши и лопаты и стали разгребать землю руками. Каждый из них в мыслях уже представлял себя счастливым обладателем груды сверкающих луидоров, гиней, флоринов, муадоров и пиастров. Можете представить, каково же было всеобщее разочарование, когда вместо вожделенных сокровищ взорам их открылась лишь куча человеческих костей! Целое скопище отвратительных останков – перемешанных в беспорядке костей и черепов – показалось из-под земли. С первого взгляда было очевидно, что в яме покоится не один скелет, но множество – не менее десятка. Возгласы разочарования сменились восклицаниями ужаса и отвращения – даже для повидавших всякое бравых вояк зрелище оказалось неприятным и отталкивающим. Кроме того, захоронение выглядело – как бы это сказать поточнее? – странно... Оно отнюдь не производило впечатления чересчур древнего, напротив, кости явно были довольно свежими. Вместе с тем, останки не имели ни малейших следов плоти, и вообще казалось, будто их побросали в яму, старательно перед тем перемешав...

Сказать, что лейтенант Флитвуд был разочарован как и все прочие – значит не сказать ничего. Он был в ярости! Так обмануться в своих ожиданиях! Иезекииль трижды проклял про себя собственную доверчивость, а

¹ Один из вождей ирландских католиков того времени.

главное – непроходимую глупость Эбенизера Многогугнявого, выставившего его в таком дурацком свете перед подчинёнными. В бешенстве лейтенант пнул ногой кучу гнилой соломы, на которой совсем недавно предавался спокойному отдыху, и – о ужас! – взорам его предстала картина ещё более омерзительная, нежели только что обнаруженные бранные кости. Прямо под ложем, где он вкушал пищу, а после спал невинным сном праведника, лежали аккуратнейшим образом разделанные части тела – обнажённый торс и отделённые от него члены... Флитвуд с глухим воплем отскочил прочь от страшной находки; это немедленно привлекло внимание прочих солдат, которые бросили созерцать раскопанное погребение и молча столпились теперь возле нового необычного открытия этой богатой на происшествия ночи.

Прошло совсем немного времени и неприглядная, а лучше сказать – отвратительная правда стала, наконец, доходить до сознания немало потрясённых англичан. Сомнений быть не могло: столь опрометчиво облюбованное ими в качестве ночного пристанища жилище – не просто разбойничий вертеп. Нет! Они явно находились в логове настоящих людоедов!

Напомним, что действие повести или, если угодно, легенды происходило в 1651 году. К этому времени с умиротворением Ирландии было практически покончено. Поскольку же умиротворение это заключалось в сплошном разорении, уничтожении более половины всего населения, превращении городов в руины, а сёл – в пепелища, оставшиеся в живых обнищали совершенно и не видели света Божьего из глубины своего несчастья. Скот почти исчез, зато появилось великое множество разбойников. Ибо часть из избегнувшего смерти или изгнания народа естественным образом подалась в бандиты, и эти шайки, в особенности в Коннахте, нападая на англичан, не щадили и своих. Их называли тори. За ними охотились как за бешеными волками; но трудно сказать, кого было больше – волков или разбойников. И те и другие премного расплодились на почве запустения страны. Оккупационные власти во главе с генерал-губернатором Генри Айртоном как могли старались бороться с означенным злом: за каждого убитого тори казна выплачивала пять фунтов стерлингов, а за волка или католического священника (англичане не видели разницы между ними) – десять. В результате поголовье волков и пастырей стремительно сокращалось, но разбойничьих шаек отчего-то не становилось меньше.

Так вот, среди этих самых «бандформирований» появились и такие, что охотились не столько за имуществом, сколько за самими людьми. Проще говоря, промышляли каннибализмом. Объяснялось это прежде всего тем, что имущества, а главное – съестных припасов, экспроприацией которых можно было промышлять, почти не осталось. Грабить стало нечего и наиболее отчаянные и пропащие из разбойников переключились на человечинку.

Именно на тайное убежище одной из таких каннибальских шаек и имел несчастье наткнуться отряд лейтенанта Иезекииля Флитвуда.

Вид недоеденных – точнее, приготовленных к употреблению – человеческих останков заставил нескольких солдат почувствовать непреодолимые рвотные позывы и выбежать из барака. Тут же ночную тишину нарушил грохот мушкетных выстрелов, и трое из пятерых выбежавших как подкошенные рухнули на землю – кто убитый, кто тяжело раненый. Дело в том, что покуда англичане занимались бесплодными поисками сокровищ, шайка тори, чьим пристанищем и являлась эта лесная обитель, воспользовалась

отсутствием дозорных и окружила строение плотным кольцом. Самых стрелявших различить в темноте среди деревьев было совершенно невозможно, зато единственный вход в барак был у них как на ладони и отличнейшим образом простреливался. Остальные солдаты не сразу сообразили, в чём дело, и опрометчиво высыпали наружу, посмотреть, что такое стряслось с их товарищами и отчего те вздумали палить из мушкетов, – из-за кустов раздался очередной залп, и ещё четверо пали, сражённые наповал.

Безусловно сам Флитвуд быстро понял что к чему и верно оценил обстановку, но было уже слишком поздно – семеро из десятка его храбрых драгун были убиты или выведены из строя. Он остался с капралом Джедедией Бербоном и ещё двумя бойцами: как нарочно ими оказались косвенные виновники всего происшедшего – старый Тревор и Эбенизер Многогугнявый.

Не теряя присутствия духа, лейтенант приказал этим двоим заряжать мушкеты, а сам вместе с капралом занял огневую позицию у двери. Снаружи доносились крики и стоны тех немногих драгун, что были лишь покалечены первыми выстрелами разбойников, но оставшиеся в живых ничем не могли им помочь – выйти наружу значило немедленно попасть под перекрёстный огонь затаившихся в темноте злодеев-тори. В остальном, вокруг хижин и в лесу царило в этот момент такое же мёртвое спокойствие, что и прежде. Словно ничего не было. Могло показаться, что внезапное нападение неприятеля им лишь почудилось, привиделось в страшном сне: не шевелилась ни одна ветка, ни один ружейный ствол не поблёскивал в кустах, окаймляющих поляну. Разбойники будто сквозь землю провалились.

Так продолжалось некоторое время. Но вот внезапно тишину нарушили дикие и воинственные вопли. В то же мгновение ночная тьма озарилась вспышками пороха, раздались выстрелы и целый град пуль застучал по глинобитным стенам строения. Только две или три из них залетели в дверной проём, не причинив, впрочем, никакого вреда, остальные же явно были израсходованы впустую или с целью устрашить последних защитников. Лейтенант и капрал Бербон отвечали непрерывным огнём из-за дверных косяков, метаясь по вспышкам, – благо мушкетов было предостаточно, Тревор и Эбенизер едва успевали их перезаряжать – но, кажется, ни в кого не попали.

Неизвестно, сколь долго длилась бы эта перестрелка, но, к несчастью, Флитвуд упустил из виду единственное окно, прорезывавшее западную стену строения, ту же, где находилась и дверь. Подходы к окну из дверного проёма не просматривались, и группа тори сумела беспрепятственно подкрасться туда, никем не замеченная.

Всё произошло в одно мгновение: англичане не успели опомниться, как в окошке показались два мушкетных ствола и прозвучали выстрелы. Когда дым, которым заволокло помещение, рассеялся, Тревор и Эбенизер остались лежать без движения на полу. Капрал Бербон, изрыгая проклятия, ринулся с обнажённым палахом к окну и тут же упал, прошитый навылет ещё несколькими пулями. В тщетной попытке добраться до лошадей, лейтенант выскочил наружу, добежал почти до самой коновязи и, в свою очередь, получил пулю в предплечье. Обливаясь кровью, он бросился обратно в хижину и постарался забаррикадировать дверь чем только можно – камнями, телами убитых и приготовленными для очага поленьями (а ведь – прошу не забывать – он был ранен!). Кое-как обезопасив себя с этой стороны, лейтенант спрятался за котлом – так, чтобы держать под

прицелом одновременно и дверь и окно. Туда же он подтащил шесть заряженных мушкетов, рожки с порохом и несколько ядунок с пулями.

Положение выглядело безнадежным, однако Флитвуд не собирался сдаваться, понимая, какая участь его ожидает, попади он живым в руки разбойников. Он намеревался продать свою шкуру как можно дороже.

Нападавшие не заставили себя ждать – через минуту в дверном проёме показались два тёмных силуэта. Флитвуд выстрелил дважды – и оба разбойника без единого звука рухнули с разможжёнными черепами на землю позади завала. Промажнуться на таком расстоянии, даже действуя одной рукой, было невозможно. Аналогичная участь постигла и шустрого бандита, что попытался проникнуть в помещение через окно – этот корчился теперь на полу в предсмертной агонии.

На некоторое время вновь всё стихло. Разбойники стали заметно осторожнее и больше не лезли на рожон – нарываться на пули из-за одного полумёртвого офицера никто из них желанием не горел. Они решили сменить тактику и попросту выкурить своего врага из укрытия.

Флитвуд воспользовался этой передышкой, чтобы кое-как перевязать рану. Она оказалась не слишком серьёзной, но обильно кровоточила. Не успело однако минут и четверти часа, как сверху послышался треск пламени и всё пространство внутри стало заполняться едким дымом. Лейтенант понял, что разбойники подожгли крышу. Он подкрался к дверям и выглянул наружу – лужайка перед домом была заполнена вооружёнными злодеями. Между тем сверху стали падать пласты горячей соломы, дёрна и клоки сена, занялись и должны были вот-вот рухнуть деревянные балки и перекрытия, кругом сыпались искры, и гуляли языки пламени. Огонь грозил вскоре охватить и деревянные конструкции глинобитных стен. Не видя никакого спасения от пламени, лейтенант залез в медный чан с водой и погрузился в неё.

Надо отметить, что именно в этом месте своего рассказа старина Том допускал некоторые варианты: иногда в нём фигурировал упомянутый чан с водой, как наиболее правдоподобная деталь, а порой мистер О’Тул категорически утверждал, что Флитвуд выбрал в качестве укрытия бочку с пивом. Последняя возникала значительно чаще. Вероятно оттого, что самому Тому смерть в воде представлялась чересчур омерзительной.

Как бы то ни было, Флитвуд залез в котёл (или бочку) и погрузился с головой в воду (или пиво); ему приходилось поминутно поднимать голову, чтобы вдохнуть воздуха, и снова прятать её, из страха перед огнём. Высовывая голову, он не тратил время на бессмысленные стенания, но мужественно и вдохновенно распевал пять последних стихов сто сорок девятого псалма. Так продолжалось до тех пор, пока крыша, а за ней и весь дом не рухнули внутрь, погребая под горящими обломками несчастного лейтенанта. Говорят, что умер он всё-таки от утопления, а тело его будто бы сторело на пять футов длины, остальную часть предохраняла от жара влага (чем бы она ни являлась).

Так окончил свои дни Иезекииль Флитвуд, воин и проповедник. Останки же его, конечно, не могли узнать покоя и не сподобились сообразного заслугам и достоинствам погребения (ведьма и тут оказалась кругом права), ибо были съедены.

Глава шестая

Самым непредвиденным образом оправдывающая многие, хотя и далеко не все, ожидания

Даже если автор воспользуется расхожим приёмом некоторых известных и весьма изошрённых рассказчиков и призовет все силы Времени и Случая, ставящие столько помех на нашем жизненном поприще, быть ему свидетелями в том, что он никак не мог приступить *всерьёз* к повествованию о Безголовом Призраке до настоящей минуты, когда звёзды, кости и обстоятельства разместились, легли и сложились наиболее благоприятным образом, делающим это, наконец, возможным, ему едва ли поверят. Поэтому читатель услышит от нас не бесполезные оправдания, но продолжение истории.

Итак. Все помнят, как один видный философ, рассматривая проблему достоверности теории эмпирической вероятности, пришёл к однозначному выводу, гласящему, что грядущие события будто бы в принципе непредсказуемы. И таковая особенность объясняется вовсе не нашим субъективным о них знанием (точнее, незнанием), но имманентными свойствами самих событий, их заведомой случайностью. На этой основе им была постулирована полнейшая несостоятельность любых предсказаний или, если угодно, всякого прогнозирования. Более того, от тезиса о простой непредсказуемости (случается то, что случается, а не то, что предсказано), он впоследствии перешёл к парадоксальному утверждению об отрицательной достоверности прогноза: что бы ни случилось, оно наверняка случится иначе, чем по прогнозу должно случиться.

С другой стороны, можно вспомнить знаменитого Джакомо Казанову, который тоже иной раз баловался футурологией и любил говаривать, что многие события в нашем мире так никогда бы и не произошли, не будь они заблаговременно предсказаны. Дескать, коли предсказание не сбывается, то грош ему цена; но зачастую сам человек, уверившись в истинности того или иного оракула, понуждает и вероятностную цепь событий выстроиться так, а не иначе. И ведь правда, не служит ли удивительная история побега сего авантюриста из Пьюмби, Свинцовой тюрьмы, блистательным тому подтверждением?..

Так вот, если читатель разделяет какую-то из означенных точек зрения, то ему не имеет ни малейшего смысла читать шестую главу. Когда же не разделяет – тем более.

Лучше всего просто выбросить из головы все подобные теории, полностью довериться собственной интуиции и жизненному опыту, который, как известно, сплошь и рядом противоречит любым теориям, даже придуманным наиболее маститыми философами.

Конечно, тот факт, что проклятие Окаянной Морриган сбылось в отношении Иезекииля Флитвуда, сам по себе представляется невероятным. И вы вправе подвергнуть сомнению наличие взаимосвязи между словами полумной старухи и конкретными обстоятельствами гибели лейтенанта. Можете отнести эти обстоятельства к разряду маловероятных случайностей, тех самых, о которых наука вспоминает, рассуждая о математических множествах, законах статистики и больших чисел. Но как быть с генералом Айртоном? Ведь и его судьба оказалась предсказана вдовой О’Гилви, и его подстерегла та самая участь, что напроорочила ему ирландская ведьма.

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть приведённую ниже главу.

Что, вновь очередное совпадение? Или, даже, серия удивительных совпадений? А быть может, всё-таки властная длань Провидения? Либо костлявая рука Немесиды? Вмешательство богини Слепой Судьбы – Тихэ? Происки мойр-прядильщиц? Судить об этом – читателю, автор же не берётся истолковывать интимные подробности, пикантные трансцендентальные оттенки *adultere* Случая с Неизбежностью. Хотя и допускает, что последствия такого инцеста или инбридинга могут быть весьма замысловаты. Автор вообще готов допустить всякое. Пусть даже самое невероятное. Единственный довод, который мы отвергаем сразу и бесповоротно, – это мысль о возможной фальсификации, подтасовке событий. Такой аргумент противоречит изначально заявленной научной добросовестности настоящего исследования, здравому смыслу, наконец.

Кроме того, не стоит забывать и о путеводной нити, а именно – о правдивом рассказе самого Тома О’Тула. Рассказ этот никак не согласуется с мысленными экспериментами упомянутого философа, но, в то же время, достоверность его не подлежит даже обсуждению. Ибо он, подобно жемчужному зерну, катился от человека к человеку, передавался из уст в уста, из поколения в поколение, до тех пор, покуда единственным и последним обладателем его ни оказался мистер О’Тул, который, по его же собственным словам, отнюдь не пытался подобрать к сей жемчужине достойной оправы, то есть не прибавил к легенде ни одной лишней детали, ни единой красочной подробности, но поведал её нам во всей первоизданной и обескураживающе-обнажённой подлинности. И этим словам достойного стража могил также можно верить почти безоговорочно. Хотя бы из тех резонов, что по нашим наблюдениям у старины О’Тула фантазии и воображения было не больше, чем у булыжника или трухлявой колоды. А трухлявые колоды (что бы там ни говорили поэты) не способны грезить не только о былом зелёном и раскидистом великолепии, но и вообще ни о чём. Пни и руины не сочиняют преданий, но могут хранить их. На наш взгляд, последняя деталь – верный признак аутентичности предлагаемого вашему вниманию сказания об Ужасе Чейплизода.

Быть может, читатель уже задаётся вопросом, зачем автору понадобилось это псевдофилософское вступление? Из каких соображений он вздумал заставлять его продирается сквозь тернии досужего умствования, отыскивать золотники смысла в бессмысленном нагромождении фраз, крупицы мыслей в хаосе бездумных разглагольствований, и какая от подобных поисков польза? Ну что ж, если это действительно так, то не лишним будет напомнить, что размер авторского вознаграждения напрямую зависит от количества натюканных сочинителем печатных символов. Как видите, польза налицо. По крайней мере, для автора.

Теперь, когда мы определились с несомненной пользой вступлений, пора перейти и к самому рассказу.

Как известно, осада Лимерика 1651-го года не вошла в героические аналы истории, подобно той, что случилась ровно сорок лет спустя и прославила имя Патрика Сарсфилда, графа Лукана. Но и она, тем не менее, достойна краткого упоминания.

Англичане, дабы увеличить славу своих побед, нередко именовали Лимерик одной из сильнейших крепостей Ирландии, нам же более правомерным

представляется высказывание некоего французского военачальника, насмешливо воскликнувшего при виде его городских стен: «Вы называете это укреплениями? Англичанам не понадобится пушек, они смогут разбить сии руины печёными яблоками!» Правда в том, что город лежал в весьма нездоровой местности, посреди дьявольски сырой, болотистой равнины, пересекаемой множеством топей и дренажных рвов. Вдобавок, во время осады выпало столько дождя, что обыкновенно спокойная река Шэннон вздулась будто адвокатское брюхо, мелководная Эбби стала напоминать бурный горный поток, а вся округа буквально превратилась в сплошную грязную лужу, так что ни один солдат не мог найти сухое место в своей палатке, не окопав ее канавой для стока воды. Айртон вынужден был отдать приказ выдавать бойцам усиленную норму горячительных напитков, которые одни способны были изгнать сырость и косившую ряды завоевателей дизентерию.

Не станем утомлять читателя описанием апрошей, гласисов, эспланад, эскарпов, контрэскарпов и прочих осадных и оборонительных сооружений, воздвигнутых англичанами и ирландцами, ибо взаимное расположение, величина и протяжённость их не имеют ни малейшего отношения к нашему повествованию и по этой причине никак не могут повлиять на его ход, развитие и результат. Ограничимся упоминанием, что интересующие нас события произошли на тринадцатый день осады и были связаны с отчаянной вылазкой и контратакой, предпринятой вождём осаждённых инсургентов – сэром Фелимом О’Нилом.

В этот день (а шёл третий день ноября) парламентские войска беспрепятственно продефилировали почти под самыми стенами Замка Короля Джона¹ и только что начали строиться в боевые линии перед мостом Томонд – генерал Айртон наметил на сегодня решающий штурм. Осаждённые не имели возможности как-либо воспрепятствовать враждебным маневрам, ибо из артиллерии у них имелись лишь три древние кулеврины и одна бомбарда, боеприпасы к которым успели к тому времени иссякнуть. Между тем, отважный О’Нил внимательно следил за ходом перестроений и неспешных маневров беспечного неприятеля с замковой стены, подобно коршуну, прилепившемуся к скале и выжидающему, когда можно будет ринуться на добычу. Найдя момент подходящим, он велел открыть ворота, во главе отряда кавалерии из семисот дворян перешёл на быстром аллюре мост и тотчас же понёсся с основной массой всадников на республиканцев, атакуя их с фронта, тогда как два другие отряда угрожали им с флангов. Англичане, уверенные в собственной безопасности и не ожидая такой наглости от папистов, обязанных трепетать в ужасе при одном виде регулярной армии, пришли в замешательство, грозящее обратиться в безотчётную панику. Передние ряды их (состоявшие в основном из пикинеров) смешались, заметно утраченные несущимися во весь опор лошадьми, сверканием обнажённых клинков и дикими воплями всадников; задние попытались открыть беспорядочный и редкий мушкетный огонь (артиллерия ещё не успела развернуться), причинив больше вреда своим же товарищам, а многие попросту стали покидать строй и обратились в бегство. Уже через пару минут их настигли кавалеристы и принялись колоть и рубить беглецов без всякой жалости. Над полем, перекрывая шум битвы, гремел голос Фелима О’Нила: «Рубите их! Крошите! Никакой пощады красным мундирам,

¹ Старинная цитадель в центре города, на Королевском острове.

помните Дрогеду и Клонмел!» Впрочем, ирландские драгуны не нуждались в особых призывах к отмщению – палаши инсургентов и без того жаждали крови пуритан.

Генерал Айртон, наблюдавший за маневрами своих войск и последующей стычкой с небольшой возвышенности, сообразил, что болотистые берега Шеннона вот-вот могут явить страшные картины повальной резни, бегства и преследования, немедленно построил в боевые порядки передовой отряд конницы (из числа знаменитых «железнобоких») и бросился на помощь пришедшим в расстройство пехотным полкам. Гораздо более многочисленная английская кавалерия налетела на всадников О'Нила с такой силой и яростью, что тут же отбросила их на расстояние пистолетного выстрела. Ирландцы бились с беспримерным мужеством, но принуждены были отступить перед численным превосходством неприятеля, который к тому же (нельзя не признать) отличался большей сплочённостью, лучшей выучкой во владении оружием и управлением лошадыми.

Генерал Генри Айртон лично вёл своих драгун в бой и уже успел убить собственной рукой пятерых всадников, когда вихрь сражения столкнул его лицом к лицу с сэром Фелимом О'Нилом. Противники обменялись двумя-тремя нетерпеливыми ударами и поняли, что обладают равной физической силой и с почти равной сноровкой владеют холодным оружием и конями. Не было сомнения и в том, что оба вождя одинаково отважны и не привыкли отступать перед лицом опасности. Короче говоря, схватка обещала быть долгой, упорной и ожесточённой. Участники поединка и сами, по-видимому, разделяли это мнение, ибо, точно по взаимному соглашению опустили оружие и слегка разъехались, дабы немного передохнуть перед смертельной борьбой и сказать друг другу пару приличествующих торжественности момента слов.

Первым изготовился произнести речь Айртон: он глянул на ирландского вождя с суровым спокойствием, мрачно насупил кустистые брови, чуть отвёл в сторону и приподнял правую длань, крепко сжимавшую палаш и... И тут произошло непредвиденное. Точнее, первое из множества абсолютно случайных совпадений этого и нескольких последующих дней.

Начнём по порядку: на самой высокой из пяти замковых башен, той, где была установлена допотопная бронзовая бомбарда и три длинноствольных кулеврины восемнадцатого калибра – вся наличная артиллерия Королевского острова, без толку маялся одноногий инвалид-канонир. Без толку – потому как запас чугунных ядер для кулеврин закончился уже на седьмой день осады, а гигантская бомбарда вообще не произвела ни единого выстрела, ибо бездействовала уже лет сто пятьдесят. Сей раритет, покоящийся на массивном лафете в виде деревянной корытообразной колоды, предназначался некогда для метания здоровенных каменных ядер, которые закатывались в ствол при помощи специального подъёмного механизма, к тому времени утраченного. И даже если бы механизм не был утрачен, это мало бы что изменило, так как справиться с ним в одиночку не представлялось возможным. Но и в том случае, когда бы, вместо одноногого инвалида, к бомбарде был приставлен полный штат орудийной прислуги, проку от этого не было бы никакого, ибо и каменных ядер в наличии не имелось. Имейся же в наличии каменные ядра, и это не спасло бы положения – изготовление бомбарды к стрельбе являлась тонким искусством, к тому времени полностью забытым. Не лишним будет напомнить, что представляло из себя это орудие

смерти. Бомбарда состояла из двух частей: пороховой камеры с умеренным диаметром, которая прочно забивалась и закупоривалась чурбаном из мягкого дерева, и передней части, или собственно ствола, в котором помещалось исполинское ядро, по возможности закреплявшееся паклей и глиной. Колоссальный размер каменных ядер обуславливался самим их материалом; они должны были действовать своей тяжестью, даже если им придавалась минимальная начальная скорость; ядрам меньшего размера можно было придать большую скорость – но в таком случае они легко разбивались бы вдребезги, ударяясь о стены, которые сами призваны были разбивать. В нашем случае бомбарда предназначалась не для разрушения крепостей, а для их обороны, но это обстоятельство мало повлияло на размеры ядер и, соответственно, самого орудия, которое было невероятно велико, тяжело и прозывалось «Жирная Мэг». Следует добавить, что пороховая камера представляла собой отдельную от ствола часть и обыкновенно соединялась с ним лишь для выстрела; подгонка их друг к другу производилась при помощи хитроумного затвора; считалось, что такую камеру легче заряжать, а орудие – перевозить; к тому же имелась возможность заготовить несколько камер на одно дуло и тем достигнуть ускорения стрельбы. Так что «Жирную Мэг» вполне можно считать одним из первых прообразов орудий, заряжающихся с казны. Впрочем, как уже было сказано, все эти гипотетические преимущества не имели ровно никакого значения – «Жирная Мэг» вот уже полтора века не бывала в употреблении и стояла на замковой башне лишь для декорума и пущего устрашения.

Итак, одноногий канонир маялся подле своей бесполезной батареи, бесильный оказать хоть какую-нибудь поддержку отряду отважного Фелима О'Нила, который неуклонно подавался назад под натиском красномундирной кавалерии и вот-вот готов был показать врагам тыл. Как всегда на войне, отступление представлялось гораздо опаснее самой вылазки, ибо ирландским драгунам предстояло вернуться к воротам замка по тому же самому мосту Томонд, перекинутому через Шэннон и соединяющему цитадель Королевского острова с сожжёнными дотла пригородами Лимерика, по которому они незадолго до того переправились для безрассудной атаки. Учитывая узость моста, неизбежные при отступлении с висящим на плечах неприятелем толчею и неразбериху, не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы предсказать давку, смятение и большие потери.

Канонир видел всё это с башни яснее, чем кто бы то ни было, и оттого раздражение и ярость лишь нарастали в его груди. Он то изрыгал самые страшные проклятия в адрес «круглоголовых», то возносил страстные молитвы ко всем ведомым ему святым и угодникам Божиим. И вот, в тот самый момент, когда генерал Айртон приготовился обратиться с суровым увещательным словом к сэру Фелиму О'Нилу, насупил брови и исполненным достоинства жестом приподнял правую длань, одноногий инвалид громогласно призвал наиболее чтимых патронов пушкарского цеха – святых Антония и Варвару – обрушить на голову нечестивца всю силу своего гнева, и в бешенстве (а равно для вящего усугубления мольбы) со всей мочи долбанул курительной трубкой, которую сжимал до той поры в зубах, по корпусу «Жирной Мэг». Случилось так, что удар пришёлся по зарядной камере, глиняная трубка естественным манером разлетелась вдребезги, горящий пепел и искры посыпались в разные стороны, малая толика их попала в небольшое затравочное отверстие, куда обыкновенно втыкали раскалённый

железный крюк... И вот тут-то неожиданно выяснилось, что все последние полторы сотни лет старая бомбарда благополучнейшим образом простояла заряженной, – ибо немедленно вслед за попаданием внутрь искр и горячего пепла, из затравки и небольших зазоров между пороховой камерой и стволом повалил густой сизый дым, раздался нарастающий треск горения смеси селитры, серы и древесного угля, после чего всё огромное тулово «Жирной Мэг» содрогнулось от мощного взрыва пороховых газов, и древнее орудие выплонуло в воздух двенадцатицентнеровое каменное ядро.

В строгом соответствии с законами внутренней и внешней баллистики, классической теорией всемирного тяготения Ньютона и менее классической гравитационной – Эйнштейна, ядро взмыло вверх, описало над полем сражения крутую параболическую кривую (второго порядка), врезалось в одиноко стоящий на левом берегу Шэннона дуб, сломало его, отскочило под идеальным прямым углом и шмякнулось о большой выступающий из воды прибрежный гранитный валун, в результате какового удара разбилось и разлетелось на множество осколков, не причинивших никому ни малейшего вреда.

Но ядро для большей прочности было крестообразно оковано двумя железными обручами; за те сто пятьдесят лет, что сей снаряд покоился в стволе бомбарды, железо сильно проржавело под действием влаги, неизбежно проникавшей в широкое, направленное под углом сорок пять градусов вверх дульное отверстие, и конечно также раскололось при ударе о гранитный валун на несколько кривых изогнутых полос. Одна из этих полос отлетела далеко в сторону, пронеслась над полем подобно диковинному зазубренному ятагану и по воле Рока угодила прямо в генерала Генри Айртона, готовящегося произнести подобающую случаю речь. Речи так и не суждено было прозвучать – Айртон не имел возможности даже отдать должное меткости канонира и воскликнуть: «Отличное попадание!», подобно тому, как это сделал много лет спустя генерал Монбрен, когда русское ядро поразило его в бок при Бородино; не имел, – ибо ржавый железный ятаган вонзился ему как раз чуть ниже затылка, перебил шейные позвонки и начисто отчекрыжил голову.

Так погиб зять будущего лорда-протектора, генерал Генри Айртон, не без основания прозванный Уэксфордским Мясником. По необъяснимому стечению обстоятельств случилось это аккуратно по прошествии двух ночей после Дня Всех Святых – третьего ноября 1651 года, то есть опять-таки ровно в срок, предсказанный Окаянной Морриган. Справедливости ради стоит отметить, что, хотя никто из историков не оспаривает сам факт смерти Айртона под Лимериком, однако относительно причин смерти существует значительное расхождение во мнениях. Так, наряду с версией о гибели в сражении, в некоторых источниках можно найти довольно противоречивые утверждения о кончине одного военачальника в результате подхваченной в здешних болотах гнилой лихорадки, или от чумы, или даже от тифа (каковой к тому времени вообще не был открыт, а, следовательно, не существовал). Думается, что сама разноречивость таковых сведений более чем убедительно свидетельствует в пользу версии старины Тома О’Тула. По крайней мере, нельзя отрицать, что его вариант событий имеет не меньше прав на существование, чем все остальные прочие. Конечно, дотошный читатель, рассматривая распределение вероятностей гибели Айртона именно таким, а не иным образом, может позволить себе задать ряд неудобных

вопросов. Например, как случилось, что в течение целых ста пятидесяти лет никто не заметил, что бомбарда заряжена? Или – отчего пороховой заряд не отсырел и не пришёл в негодность за столь продолжительное время? Или даже: действительно ли курение табачного зелья, лишь за несколько лет до описываемых событий начавшее победное шествие по уделу святого Патрика, являлось настолько распространённым обычаем среди простых ирландских канониров? Ну что ж, честно признаемся, что ответов на эти вопросы у нас нет. Но что это доказывает? Ровным счётом, ничего. Однако если обладающий достаточным упорством читатель, добравшись до вышеописанного эпизода, придёт к выводу, что злоключения Генри Айртона с его смертью прекратились, то невольно впадёт в жестокое заблуждение – со смертью злоключения покойного генерала только начинались.

Вообще, гибель командующего мало отразилась на ходе боя. Безусловно, отряд Фелима О’Нила воспользовался некоторым замешательством английской кавалерии и почти без потерь форсировал мост, но финал это никоим образом не изменило, да и не могло изменить – сражение было проиграно. А вскоре (на следующий день) пал и сам город. Отважный Фелим О’Нил кончил жизнь на виселице; командование парламентской армией перешло к генерал-лейтенанту Эдмунду Ледлоу, который успешно продолжил дело своего предшественника, повсеместно добиваясь лёгких побед, ибо с падением Лимерика дух ирландцев был окончательно сломлен. Даже королевский лорд-наместник острова сэр Айлик де Бург, благородный граф Кланрикард, вынужден был признать, что более не способен противостоять превосходящим силам республиканцев, покорился Парламенту и уехал в Англию, где спустя короткое время и умер, от совокупного воздействия климата, горя и несварения желудка.

Впрочем, нас эти события интересовать должны очень мало или даже не должны интересовать вовсе, ибо к повествованию имеют лишь косвенное отношение. Прямое отношение к легенде имеют совсем не дела живых, но, напротив, дела мёртвых. Однако о них любознательный читатель сможет узнать только из следующей, последней главы.

Глава седьмая

Расставляющая все акценты, все точки над «і», устраняющая все прошлые противоречия и плодящая великое множество новых, или Кое-что о тройной подмене

Сдва в войсках пронеслась весть о смертельном ранении генерала Айртона, как к месту его гибели стали стекаться безутешные соратники. Полководец, чей жизненный путь был ознаменован столькими славными победами и отмечен таким обильным и великолепным кровопролитием, не мог не быть любим солдатами. Тем в большее отчаяние пришли они, увидев своего кумира обезглавленным.

К несчастью, поиски оторванной головы поначалу не дали положительных результатов. По какой причине, достоверно не известно: то ли она оказалась сильно обезображена копытами лошадей и осталась неузнанной, то ли просто затерялась среди множества разбросанных на поле сражения трупов и частей тел, или, быть может, вмешался всё тот же всемогущий Случай, Бог ведает...

Поскольку тело решено было отправить в Англию, в Лондон, для чего его предстояло сначала переправить в Дублин, то покойного хоронить не стали, но аккуратнейшим манером запеленали в войсковое знамя и запыливали в наскоро сколоченный, но поместительный дубовый гроб. Туда же сложили его личное оружие, награды и вообще все бывшие при нём в момент гибели вещи. По странному недоразумению в гроб оказалась уложена и голова Окаянной Морриган, до последнего мгновения болтавшаяся у луки седла злопамятного генерала. К тому времени голова эта – и без того не отличавшаяся внушительными размерами – изрядно усохла, сморщилась, скукожилась, почернела и напоминала более некий диковинный волосатый овощ, нежели бывшее вместилище человеческого разума. Возможно поэтому опознать её было весьма затруднительно.

Так вот, гроб был отправлен в сопровождении роты драгун в Дублин, где его надлежало погрузить на корабль и отправить на родину генерала. Спустя неделю траурный кортеж прибыл в Чейплизод, там гроб выставили в местной церкви, недавно очищенной от изваяний, фресок, образов и распятий – всего, что могло отдавать тлетворным духом ненавистного пуританам папизма. Выбор места для предварительного прощания с покойным был обусловлен тем, что здесь, в пригороде ирландской столицы, квартировал верный Парламенту мушкетёрский полк, солдаты которого выразили горячее желание отдать последнюю дань памяти павшего героя.

Случилось, что всего за пару дней до этого в ту же деревню, в тот же храм (последнее, впрочем, не удивительно – он был единственный в Чейплизоде) доставили тело вдовы Морриган О'Гилви. Дело в том, что Окаянная Морриган являлась уроженкой этих мест, семейство покойной имело наследственные права на некий клочок церковной земли, каковой следовало бы назвать скорее посмертным, нежели пожизненным владением, и трое верных почитательниц незаурядных талантов, которыми Морриган отличалась при жизни, а проще говоря, – три таких же, как и она, ведьмы, почли священным долгом взять на себя труд сопроводить тело почившей мученицы в Чейплизод, дабы прах её смог обрести покой в земле родового погоста. Уже по прибытии на место выяснилось, что былой храм святой Бригитты – симпатичная деревенская церковь с колокольной, от основания до шпиля покрытой тёмной, шелестящей массой плюща – поруган и отдан кальвинистам, а место старого, толстого и весёлого отца Пленуса занято молодым, тощим и мрачным протестантским пастором Стигосусом. Но делать было нечего, возвращаться назад – не с руки, и три товарки убиенной вдовы О'Гилви, выдав покойную за истую последовательницу англиканства, оставили наскоро сколоченный, но поместительный дубовый гроб с её телом при храме, рассудив, что все средства хороши, лишь бы захоронить покойницу в освящённой земле. В противном случае, как они не без основания полагали, душа умершей вполне может отправиться напрямик в пекло, в четвёртый росщеп восьмого круга ада, носящий (если верить Данте) неблагозвучное название «Злых Щелей», вместо относительно безопасного Чистилища.

Таким образом в старой приходской церкви Чейплизода оказались сразу два *безголовых* покойника.

Но Судьба или Провидение благоволили памяти сгинувшего в пучине войны героя революции: в это самое время под стенами павшего Лимерика нежданно-негаданно нашлась голова сэра Генри Айртона. Выяснилось, что

эта важнейшая часть тела просто закатилась в неглубокую ложбину на изрядно изрезанном всяческими канавами, рытвинами и буераками поле, была присыпана комьями земли и потому осталась незамеченной.

Голову немедленно упаковали в приличный ковчежец и с елико возможным поспешанием отправили нарочным в Чейплизод, вслед за телом, чтобы успеть до погрузки последнего на корабль и отправления в Англию.

Возможно, на этом и закончились бы злоключения разрозненных частей тела славного генерала (ибо нарочный поспел вовремя), когда бы не Роберт Артиссон – могильщик, церковный сторож и помощник приходского священника в одном лице, тот самый Роб Артиссон, что служил ещё при старом отце Пленусе, а ныне с тем же успехом подвизался в качестве верного личарды тощего пастора Стигосуса. Тот самый, которому мы обязаны рождением легенды о Безголовом Призраке, ибо никто иной, как Роберт Артиссон явился не только непосредственным участником и одним из важнейших персонажей сказания, но и незамутнённо-чистым первоисточником оно.

Так вот, означенного подпaska душ и маркитанта червей, также как и его далекого преемника на этом посту – мистера О'Тула, можно задним числом назвать человеком многих, хотя в основном и скрытых, достоинств. Недостаток у них также был один на двоих. Впрочем, непьющий кладбищенский сторож – это логический нонсенс, род субконтрарного противоречия, посягательство на здравый смысл и аксиому силлогизма, вопиющее нарушение или даже поругание законов Бытия и потрясение устоев Мироздания. Во всяком случае, в литературе таковые не встречаются.

Как бы то ни было, именно упомянутый Роберт Артиссон принял от нарочного ковчежец с генеральской головой и обязался с должным почтением приладить её к покоящемуся в гробу генеральскому тулову. Но мы уже знаем, – в церкви находились два одинаковых гроба, и каждый – с безголовым покойником. Так что нет ничего удивительного в том, что Артиссон – по злему умыслу ли, по недоразумению ли, а скорее всего, просто с пьяных глаз – сунул обретенную главу в домовину вдовы О'Гилви.

К счастью, суровый пастор Стигосус не питал особенного доверия к аккуратности (и умственным способностям вообще) своего помощника, а потому взял за правило по возможности перепроверять и контролировать любые действия последнего. Такой неусыпный надзор оказался в данном случае как нельзя более кстати: оплошность или глумливая насмешка Артиссона была быстро обнаружена и немедленно исправлена – пастор уложил чело павшего героя в надлежащий гроб.

К этому времени все жаждавшие проститься с главнокомандующим осуществили своё желание, и гроб оставалось только отвезти в Дублин, там погрузить на корабль и отправить в Англию. Отправка должна была состояться утром следующего дня. Однако тем же вечером Артиссон по обыкновению праздновал очередную викторию над зелёным змием, в ознаменование которой уничтожил добрых полкварты *потина* – огненного ирландского самогона, заслуженно прозванного «адской росой» или, иначе, «ангельской уриной» за его способность вводить любого человека в состояние блаженного транса, весьма близкого к буйному умопомешательству. Победа над бутылкой заметно подняла помощнику пастора настроение и пробудила в нём деятельный дух: Роберт Артиссон отправился в церковь и принялся, по-видимому, бесцельно слоняться по пустынному полутёмному

помещению, то и дело спотыкаясь о почерневшие деревянные скамьи, задевая пюпитры певчих и роняя на пол разложенные на них молитвенники. В какой-то момент необъяснимая сила властно направила его неверные шаги в сторону престольного возвышения и привела к установленным рядом с кафедрой двум открытым гробам с телами Айртона и О'Гилви. В изголовьях гробов горели свечи – едва ли ни единственная уступка былой обрядности, – так что Артиссон имел возможность достаточно ясно разглядеть покойников. Оба тела были завернуты в почти одинаковые смертные пелены: генерал – в белое с чёрным полковое знамя, ведьма – в чёрно-белый саван. Артиссон склонился над останками последней и тщательно обшарил гроб и самый труп; не обнаружив того, что искал, он перешёл к ревизии второго гроба...

Если у читателя мелькнула шальная мысль, будто уважаемый кладбищенских дел мастер опустил до мародёрства, до обворовывания покойников, то просим немедленно выбросить её из головы и не впадать в праведный гнев. Ибо она ни на чём не основана. Само предположение о чём-либо подобном оскорбительно для доброй памяти и честного имени Роберта Артиссона. Всё куда проще и благопристойнее: накануне утром Артиссон, прямо в храме Божьем, оказался застигнут врасплох преподобным Стигосусом за довольно некошным занятием – подобно бессмертным, вкушавшим некогда нектар на «многохолмной» вершине Олимпа, он потягивал виски, сидя в святая святых и опершись спиной о кафедру. Точнее, почти застигнут. Ибо в последний момент он успел-таки сунуть флягу в один из выставленных рядом гробов. Вот эта самая заветная фляга и являлась ныне предметом его настойчивых поисков.

В какой-то момент Артиссон решил, что искомое найдено: он с радостным возгласом поднёс обнаруженный предмет к свету, но тут же выругался и в раздражении сплюнул – то была вовсе не фляга, а почерневшая и сморщенная человеческая голова, обрамлённая остатками спутанных седых прядей. Артиссон в недоумении уставился на лежащего в гробу покойника – тот был с головой; точнее, к плечам его была приставлена та самая голова, которую этим утром доставили нарочным из-под Лимерика и которую он, могильщик Роберт Артиссон, самолично уложил в генеральский гроб. Откуда же – чёрт её возьми совсем! – взялась вторая голова? Артиссон заглянул в другой гроб – тамошний покойник был как раз явно безголов. Артиссон наморщил лоб, напряг все свои умственные способности и погрузился в глубокую задумчивость. Задача была не из лёгких. Не исключено, что окажись на месте могильщика другой человек, человек с трезвым рассудком, она и вовсе оказалась бы неразрешимой. Но не таков был наш церковный страж. Раскинув мозгами и пошевелив извилинами, он довольно быстро сообразил, что к чему. И ведь правда, коли следовать формальной логике, решение представлялось очевидным: раз он приладил присланную голову к телу, у которого и без того уже имелась голова, следовательно он допустил досадную ошибку – попросту перепутал гробы. Придя к сему безупречному во всех отношениях выводу, могильщик немедленно вытащил из генеральского гроба голову сэра Генри Айртона и приставил её к бездыханному телу вдовы О'Гилви, принятую же им за флягу с виски голову ведьмы аккуратно приложил к плечам кромвелевского зятя.

Как только манипуляции с головами были завершены, словно по волшебству обнаружилась и пропавшая ёмкость с ячменным нектаром. Артиссон

сейчас же решил, что се по праву заслуженная им награда небес за проявленную недюженную смекалку и своевременное устранение прежней оплошности, прикрыл оба гроба крышками и, во избежание возможной последующей путаницы, накрепко заколотил. При этом, несмотря на тяжёлую степень опьянения, он совершенно трезво рассудил, что голова, снабжённая клиновидной бородкой и усами, должна принадлежать мужчине, вторая же, украшением которой были лишь остатки длинных седых прядей, – женщине. Потому и крышку с выжженными на ней инициалами «Г.А.» возложил на гроб с мужской головой, а вторую – безо всяких опознавательных знаков – с женской.

Так и вышло, что следующим утром в Англию поплыл гроб с телом старой ведьмы и головой сэра Генри, а могильная яма в углу наследственного участка рода О'Гилви на Чейплизодском кладбище приняла гроб с телом генерала Айртона и головой Окаянной Морриган.

Для Кромвеля смерть любимого зятя стала, очевидно, тяжким ударом; произнося по этому случаю речь в Паламенте, будущий лорд-протектор назвал сэра Генри Айртона выдающимся человеком, прославившимся неиссякаемой энергией, железным упорством, неутомимым рвением и изобретательным умом, а равно строгим и неукоснительным соблюдением установленных им же законов, которое проявил он, осуществляя в Ирландии свои воистину безграничные полномочия наместника. В знак уважения к трудам и заслугам покойного Парламент пожаловал его вдове поместье с годовым доходом в две тысячи фунтов, а сами останки почтил пышными похоронами за государственный счёт. Очевидцы рассказывали, что похороны и в самом деле были роскошными. Гроб доставили из Сомерсет-хауса на покрытом чёрным бархатом катафалке, влекомом шестёркой лошадей, тоже в бархате; покров на гробу поддерживала дюжина безутешных республиканцев, армейские офицеры несли штандарты и вымпелы, герольды в церемониальных одеждах – воинские стяги и регалии; за катафалком шёл боевой конь покойного в богатой попоне, расшитой золотом, далее шагали гвардейцы, солдаты и бесчисленные скорбящие, вдохновенно и гнусаво распевавшие приличные случаю псалмы. Один из современников впоследствии отметил в мемуарах, что более впечатляющего, отрадного, возвышенного и утешительного для сердца зрелища он отродясь не видывал. Конечно, каждому из участников траурного шествия было невдомёк, что в последний путь они провожают совсем не героя революции, но бранный прах ирландской ведьмы.

Девять лет спустя, когда революционный вихрь утих и призванный на престол Карл II вернул на время в жизнь страны веселье, отправив на эшафот три десятка наиболее склонных к меланхолии и аскезе деятелей Реформации, королевский палач извлёк из гробницы Вестминстерского аббатства в числе других и тело Генри Айртона, дабы воздать ему последние почести, вздёрнув на виселицу. Говорят, он был немало поражён, обнаружив, что скелет облачён в полуистлевшие остатки красной юбки, женскую шаль, и найдя на его обнажённых рёбрах медный образок с изображением Девы Марии.

События в Ирландии развивались несколько иным образом. Похороны Окаянной Морриган не отличались особой пышностью, а эксгумировать преданный земле прах ни у кого, естественно, и в мыслях не было. Но в том

же самом 1660-м году, когда был нарушен покой праха в Вестминстере, на Чейплизодском погосте стали происходить странные вещи.

Однажды в начале ноября на Дублин и окрестности спустилась тёмная-претёмная ночь. Слабый молодой месяц едва виднелся из-за погребальной пелены низких облаков, отдельные тусклые звёзды чуть заметно мерцали в их рваных окнах, а горизонт на западе то и дело озарялся грозными сполохами зарниц, совсем не характерными для этого времени года.

Весь тот день до вечера старик-могильщик Роб Артиссон провёл в тревоге. Чем была вызвана та тревога, он и сам хорошенько не знал, но накануне ночью ему пригрезилось, будто разлившиеся воды Лиффи затопили Чейплизод, размывли кладбище, и покойники плавают по улицам в гробах, точно в рыбацких лодках, весело распевая «Храни, Господь, Ирландию» на мотив «Козлика Пэдди Макгинти». Такой странный сон вполне мог предвещать неприятности, впрочем, какие именно и насколько крупные – оставалось только гадать.

К вечеру Артиссон по обыкновению успел уговорить порядочное количество любезного его сердцу потина (это была не безнравственность, но привычка) и теперь сидел у гаснущего очага в тяжких раздумьях о том, где бы достать немного торфа, ибо ночь обещала быть холодной и пасмурной. Он прекрасно помнил, что под навесом рядом с церковью хранится целый штабель пластов торфа – он сам его заготовил недавно для пастора Стигосуса, но чтобы добраться до церкви, нужно было пересечь всё кладбище (хижина Артиссона располагалась в противоположном его конце), а мысль о ночной прогулке в ненастье среди могил отчего-то на сей раз совсем не улыбалась их стражу. Наконец страх перед холодом возобладал над страхом перед дурными предчувствиями, и старый Роб решительно, хотя и безо всякого энтузиазма, выбрался из своего убогого жилища навстречу ветру и близящейся непогоде.

Как уже было сказано, ночка выдалась тёмная, хоть глаз выколи, и могильщик освещал себе путь роговым фонарём, пляшущий свет которого попеременно выхватывал из темноты мрачные силуэты кустов, деревьев, могильных крестов и плит. Артиссон не успел одолеть и половины расстояния до церкви, как хляби небесные разверзлись и на землю обрушились плотные потоки ледяного дождя. Тропка под его ногами немедля превратилась в бурливый ручей, а слабый луч фонаря стал совершенно бесполезен, ибо не освещал уже ничего, кроме заслонившей всё окрест чёрной водяной стены. В надежде поскорее добраться до цели, он прибавил шаг, поскользнулся и кубарем скатился в какой-то овраг; фонарь его погас, корзина для торфа улетела в сторону и потерялась в темноте, в довершении же всех бед овраг оказался полон воды, поэтому, то небольшое, что ещё оставалось сухим из одежды старика, мгновенно напиталось влагой и было облеплено грязью. Трижды помянув нечистого и всех его родичей, Артиссон с немалым трудом, постоянно оскальзываясь и сползая назад, выкарабкался из канавы и понял, что потерял направление и абсолютно не представляет в какую сторону нужно идти. В конце концов он рассудил, что уже не столь важно, куда он попадёт – к церкви или назад в хижину – лишь бы оказаться под крышей, в сухом помещении, и побрёл наугад сквозь непроницаемую завесу ливня. Так плёлся он некоторое время, слыша вокруг себя только всё усиливающийся шелест дождевых струй, гулкое хлюпанье собственных

башмаков, да внимая дробни не то лихой джиги, не то сарабанды, что выбивали его зубы от холода.

Вдруг слабый, но отчётливый проблеск света слева заставил его остановиться и напрячь зрение. Действительно, где-то совсем рядом мерцал некий огонёк, колеблемый и дрожащий, словно свеча на ветру. Артиссон подумал, что это вполне может быть фонарь над церковной дверью, и с проснувшейся надеждой на скорое избавление от дождя и стужи, подобно мотыльку, безрассудно стремящемуся к губительному пламени лампы, поспешил навстречу таинственному источнику света.

Увы, буквально через десяток ярдов, вместо спасительного для души и тела пристанища, взорам его открылся сильно осевший могильный холм и покосившийся каменный крест на нём; прямо за могилой чернела кладбищенская ограда, рядом росла купа из трёх сплетённых друг с другом рябин, и по этим приметам Артиссон сообразил, что каким-то образом очутился на самом краю погоста, перед местом последнего упокоения Окаянной Морриган. Значит, он находился не менее чем в трёх милях от дома, и ровно такое же расстояние отделяло его от приходской обители. Но, конечно, во все не таковое открытие привлекло в первую очередь внимание могильщика – сразу за крестом он увидел *нечто*: то ли человеческую фигуру, присевшую на корточки, то ли густую тень... да, да, всего лишь густую тень... не более чем клочок тьмы... однако, что за пара огоньков блестит там возле самой земли? Быть может, большая собака притаилась под сенью покляпых рябин? Артиссон подошел чуть ближе и присмотрелся: нет, ей-богу, это была не тень и не собака; там, за крестом, без сомнения прятался человек! Вот он начал медленно распрямляться, расти... – Роб Артиссон окоченел, только теперь уж не от холода, а от страха! – существо же тем временем полностью выпрямилось и медленно вышло из-за креста. В тот же самый миг, как по мановению волшебной палочки, дождь прекратился, тучи рассеялись и перед оцепеневшим от ужаса могильщиком в неверном свете тусклого месяца предстал зловещего вида безголовый призрак...

У Артиссона не возникло сомнений, что явившееся ему существо именно призрак, а не живой человек, – люди не имеют обыкновения разгуливать без головы, пускай и по ночам, – но, Бог мой, как же страшен был его вид! Даже старого Роба, который в силу своего ремесла привык к мертвецам и визитам неприкаянных душ, облик сего морока заставил похолодеть до мозга костей: фигура, закутанная в полуистлевший и чуть колеблемый воздушными токами саван, похожий на раздуваемые ветром клочья болотного тумана, буквально источала бесконечную злобу и ярость; казалось, они осязаемыми плотными волнами исходят от неё, будто жар от плавильной печи. Отсвет смерти, тень Тартара и отпечаток могилы покоились на кошмарном духе. Но страшнее всего был не самый призрак, но то, что безглавый дух держал в правой руке – сначала могильщик принял сей предмет за фонарь, но вот призрак поднял и вытянул прямо перед собой костлявую длань, и Артиссон с содроганием увидел, что это иссохшая, изъеденная червями и сморщенная человеческая голова с горящими как угли адского костра глазами. Злобный призрак держал голову за длинные седые космы и медленно поднимал всё выше и выше, покуда та не оказалась на уровне лица Роба Артиссона; и едва это произошло, глаза её зажглись ещё ярче, совсем уже нестерпимым алым пламенем, почерневшие иссохшие губы растянулись в невообразимо жуткой ухмылке, а из чудовищной пасти вместе

с отвратительными ошметками какой-то разлагающейся гадости вырвался леденящий душу вой, сквозь который Артиссон явственно услышал обращённые к нему грозные слова неведомого духа: «Где моя голова?! Отвечай ты, мерзкий падальщик!!» Произнесено это было хриплым глухим басом, который немедля сменился визгливым дискантом, вопрошающим его на гальском наречии: «Куда ты подевал моё тело?! Старый никчёмный пьяница!»

Артиссон в панике отпрянул прочь, но безголовый призрак и не думал отставать, он, словно привязанный невидимой нитью, влёкся следом за отступавшим назад могильщиком, голова же с вращающимися огненными очами не переставала вопить, вопрошать и поносить его на разные голоса. Оклики эти сменяли друг друга, множились и учащались, смешиваясь с душераздирающими завываниями, богохульствами, визгом, хохотом, обрывками оскорблений и насмешек; они звучали наперебой, становились всё громче и настойчивей, так что обезумевший от ужаса могильщик мало что успевал различить и понять. И вот уже Артиссону стало казаться, будто всё вокруг, даже самый воздух, кишит мерзкими существами самых странных и отвратительных обликов: буквально повсюду мерещились ему бесчисленные толпы кобольдов, пэков, ведьм, гроганов, клураканов, злобных гномов, безобразных сильфов и прочей нежити. Наконец панический страх, подобный припадку падучей, полностью овладел мозгом несчастного Артиссона, он издал короткий пронзительный крик и рухнул без чувств наземь.

Очнулся старик не раньше, чем забрезжил рассвет и первые лучи холодного ноябрьского светила озарили восток. Придя же в себя, он обнаружил, что лежит на пороге церкви, а вокруг него собралась галдящая толпа человек из десяти жителей Чейплизода, которые горячо обсуждают промежуток, спорят и даже бьются об заклад, придет ли могильщик в себя или так и отдаст Богу душу без покаяния.

Целую неделю после этого Артиссон провалялся в жестокой горячке, беспрестанно повторяя в лихорадочном бреде одни и те же, по-видимому, бессвязные, во всяком случае, загадочные для окружающих слова: «Боже, Боже мой! Где была моя голова? Неужто попутал я котелок чёртовой ведьмы с чердаком треклятого генерала?!»

Как бы то ни было, спустя семь дней здоровье старика пошло на поправку, насквозь проспиртованный организм одолел казавшуюся смертельной хворь, и Роберт Артиссон, назло беспокойным душам всех тех, кого он успел проводить на тот свет, благополучно вернулся к своей прежней почтенной деятельности присяжного Харона. Но прежней жизнерадостности и весёлости не стало уже в характере нашего героя, не с прежними солёными остротами и уморительными прибаутками предавал он теперь ненасытной земле прах своих друзей, родичей и соседей, не распевал, приплясывая, как бывало: «Вот попал ты к чёрту в пекло!» над свежими могилами, но часто становился он печален и задумчив без видимой причины, нередко впадал в меланхолию и предавался тайной грусти, свойственной, скорее, акушерам и повитухам, нежели служителям кладбищ. Он даже напроць отказался от спиртного и вёл отныне сугубо трезвый образ жизни. А может ли быть для родственников усопшего что-нибудь отвратительней и невыносимее вида угрюмого трезвого могильщика? Сплин его особенно обострялся в канун дня Всех Святых, тогда он становился особенно мрачен, замкнут и молчаливо беспокоен. Ибо ежегодно, в эту пасмурную ноябрьскую ночь, стучался у его порога, жутко завывал, хулиганил и поносил

старика самыми распоследними обидными словами страшный Безголовый Призрак, прозванный с той поры Ужасом Чейплизода...

Константин Петрович Сопоткин закончил говорить, вздохнул и устало откинулся на спинку скамьи. Теперь, когда возбуждение, вызванное собственным рассказом и виски, стало понемногу улегаться, к нему вновь подкралась лёгкая жуть, навеянная этим безлюдным местом. Константин Петрович огляделся вокруг: тени деревьев давно уже слились воедино, стусившись в сверхъестественную тьму, лишь резче и контрастнее подчёркиваемую лимонно-жёлтым светом редких фонарей; лёгкие дуновения ночного ветерка отзывались в кустарнике неясным бормотанием, затаёнными вздохами и тихим шёпотом, казалось, кусты тоже рассказывают друг другу какие-то страшные истории. Вверху, сквозь рваные скопления перистых облаков крадучись пробиралась луна. В её бледных воровских лучах, сквозь неплотный строй обступивших аллею великанов-вязов и могильных тисов, серебрились смутные очертания множества крестов и надгробий; эти памятники человеческого тщеславия – покосившиеся и прямые, полуразрушенные и относительно целые – смотрелись словно бутафорские декорации к малобюджетному фильму ужасов. Белёные ручейки тумана со всех сторон заползали на гравий кладбищенской дорожки, клубились в зарослях бузины, цеплялись за кинжальные колючки боярышника. Константину Петровичу пришло на ум, что рассказывал он только сейчас как раз об этих самых местах, и мысль о подобной связи подействовала на него угнетающе.

– Должен признаться, мне понравилась ваша история, – нарушил молчание Костромиров, – но, на мой взгляд, ей чего-то не хватает.

– Чего же? – рассеянно спросил Сопоткин.

– По-моему, нужен более впечатляющий... точнее, чуть более замысловатый финал. Чтобы повесть обрела некий подтекст что ли...

– Вот как? Есть идеи?

– Да, есть... Представьте себе, что в качестве своеобразного обрамления для неё (не знаю, как у вас, литераторов, называется этот приём) вы введёте двух дополнительных персонажей – рассказчика и слушателя...

– То есть меня и вас? – уточнил Константин Петрович.

– Ага. Действие, равно как и в нашем случае, развивается здесь же, на Чейплизодском кладбище. Так? И вот, как только рассказчик заканчивает историю...

– Чёрт! Я догадался, – прервал Костромирова Константин Петрович. – Можете не продолжать.

– В самом деле? А детали вас не интересуют?

– Насколько я понимаю, детали должны приблизительно соответствовать тем, что фигурируют в легенде, – ответил Сопоткин.

– Действительно, – согласился Костромиров, – явление Безголового Призрака лучше обставить...

– Ох, ради Бога, Горислав Игоревич, оставьте! Не ровён час, накликаете... Лучше скажите, вы помните, в какую сторону нам следует идти, чтобы попасть к воротам? А то ваш виски напроць сбил все мои пространственные ориентиры.

– Не сомневайтесь, отлично помню, – заверил литератора Костромиров.

– Замечательно. Тогда, может быть, пойдём?

– А на посошок?

– Хм... – замялся Константин Петрович. – На посошок? На ход ноги, значит? Ну что ж... Но только, если и вы составите мне компанию.

– Как скажете, – Костромиров уже наполнил едва не на три четверти высокий стакан и протянул его литератору. – Вы первый. Верный способ против слишком разыгравшегося воображения. Недаром говорят: спиртной дух изгоняет всех прочих духов. Средневековым экзорцистам следовало бы прибегать не к сомнительной помощи молитв, а к старому доброму виски.

Как только Сопоткин покончил – довольно быстро – со своей порцией, Костромиров действительно налил и себе, но плеснул в стакан лишь самую малость, на два пальца, и в ответ на протесты Константина Петровича выразительно указал на свой желудок.

Покуда Костромиров не спеша смаковал жалкую каплю благородного *Locke's* двенадцатилетней выдержки, Константин Петрович, вновь в значительной степени обретший прежнюю силу духа, с любопытством прислушивался к разнообразным и таинственным ночным звукам. Внезапно, среди странных шорохов, вздохов и шелеста листвы, ему почудилось где-то недалеко лёгкое прерывистое похрустывание гравия, будто некто почти невесомый осторожно приближался к ним, то и дело останавливаясь и замирая на месте. Сначала он решил было, что это слуховая галлюцинация, но вот те же, похожие на шаги, звуки послышались вновь, на сей раз, совсем близко. Константин Петрович даже привстал со скамьи и кинул взгляд в обе стороны аллеи: никого! Либо неведомый пришелец был не только почти невесом, но и невидим, либо у него, Сопоткина, и правда чересчур разыгралось воображение.

– Вы что-нибудь слышите? – спросил он у продолжавшего наслаждаться последними глотками виски историка.

– Вас, во всяком случае, я слышу прекрасно, – отозвался тот.

– Нет, нет, не меня! Вы слышите что-нибудь ещё?

– Что же ещё я должен слышать?

– Шаги...

– Что? Чьи шаги? – удивленно переспросил Костромиров.

– Не знаю, чьи. Но разве вы ничего не слышите?

Горислав Игоревич прислушался, потом пожал плечами:

– Ничего. Совсем ничего. Вам показалось.

Почти в тот же миг в круг света ближайшего фонаря вышел огромный, почти неестественной величины кот. Константин Петрович не сразу разобрал его масть, но вот котяра сделал несколько осторожных шагов вперёд, и стало очевидно, что он чисто белого, как снежный барс, окраса. Сопоткин попытался подозвать его ближе, прошептал: «Кс-кс-кс!», в ответ кот насторожился, замер, а потом выгнул дугой спину, распушил хвост и издал громогласный, протяжный и просто-таки душераздирающий вой, тот самый, который литератор не так давно принял за крик банши.

– Вот ведь зараза! Это же кот старины Тома! – рассмеялся Сопоткин, обернулся к Гориславу Игоревичу, проверить, какое впечатление на того произвёл сей монстр, и увидел, что его собеседник сидит к нему спиной и что-то разглядывает позади скамьи.

– А вы что там узрели? Не иначе подружку этого вопящего призрака, будь он неладен?

Горислав Игоревич ничего не ответил, лишь предостерегающе поднял правую руку – казалось, он к чему-то напряжённо прислушивается.

– Что вы молчите? – поинтересовался Константин Петрович и,

подавшись вперёд, заглянул в лицо Костромирову: в глазах того было очень странное выражение, хотя внешне он и казался спокоен.

– В чём дело? – раздражённо спросил Константин Петрович. – У вас такой вид, будто вы и впрямь увидели привидение.

Тут Сопоткин проследил за взглядом Горислава Игоревича, и язык его прилип к гортани, а хмель мгновенно выветрился из головы. Сказать, что он испугался, значит не сказать ничего! Он оцепенел, лицо его побледнело, вытянулось и стало походить на посмертную маску, дыхание в груди перехватило, челюсть отвисла, сердце, отчаянно трепыхнувшись раза три, замерло, и, если волосы вообще способны вставать дыбом, именно это случилось теперь с редкой шевелюрой Константина Петровича.

– Чтоб мне лопнуть! – только и произнёс он сдавленным шёпотом.

Прямо за их скамьей, на расстоянии всего лишь пятнадцати – двадцати шагов, между поросшим крапивой полуразрушенным склепом и бесформенным памятником из песчаника, неподвижно маячила необычайно высокая и худая человеческая фигура; некое подобие длинного темного балахона, смахивающего на саван или колеблемые ветром клочья болотного тумана, облекало её, оставляя открытыми кисти рук и ноги от голеней, но там, где у жуткой фигуры должна была быть голова, виднелось лишь чёрное звёздное небо. Безголовый Призрак! Без сомнения, это был он, Ужас Чейплизода... Константин Петрович невольно изо всех сил вцепился в плечо Костромирова – правая длань Призрака сжимала какой-то инструмент вроде кирки или заступа, зато в левой, опущенной руке его, слегка покачивалась иссохшая и сморщенная человеческая голова с горящими багровым пламенем глазами...

Внезапно вновь раздавшийся за их спинами бешеный кошачий вопль заставил Сопоткина и Костромирова подскочить на месте; они живо обернулись и увидели, как огромный белый кот, вздыбив шерсть и яростно сверкая зелёными глазницами, сорвался с места и несётся напрямик на них. Ни тот, ни другой не успели ничего предпринять, как животное, даже не задев их, одним молниеносным прыжком перемахнуло через скамейку и, не переставая гнусава и противно верещать, бесстрашно бросилось по направлению к безголовому чудищу. Впрочем, никакого Призрака там уже не было; как и куда подевался нехоти помянутый морок, было непонятно – он просто исчез, канул в ночь, растворился без следа... («Никогда не забыть мне ужаса, что довелось испытать в ту ночь, – любил говаривать впоследствии Константин Петрович, рассказывая друзьям о событиях этого и двух последующих дней. – Непередаваемое ощущение. Восхитительное! Просто восхитительное!»)

– Феерично! – произнёс Костромиров и поднялся со скамьи. – Не пойти ли нам посмотреть, куда дёрнул домашний питомец вашего кладбищенского знакомого? Думаю, милое создание устремилось по следу безголового монстра. Не иначе.

– Ну уж, нет! – возмутился Константин Петрович. – На сегодня нам с вами вполне достаточно впечатлений.

– Да, впечатлений масса, – согласился Костромиров.

– Вот и чудненько! – обрадовался Сопоткин и живо поднялся со скамьи. – Значит, на выход.

Костромиров со вздохом опустил в боковой карман кашемирового пальто стакан, затем не спеша засунул и саму бутылку, где ещё плескалось с

полпинты благородного напитка, во внутреннее, по всей видимости, бездонное отделение, ещё раз оглянувшись назад, – убедиться, что монструозное создание не появилось вновь, – и жестом предложил Сопоткину следовать за ним.

– Что вы обо всём этом думаете? – поинтересовался Константин Петрович, тоже не переставая тревожно озираться кругом.

– Думаю, за явленным нам маскарадом стоит один ваш хороший знакомый, – спокойно ответил Костромиров.

– Вот как? И кто же?

– Как это, кто? Старина Том, конечно.

– Том О’Тул? – удивлённо переспросил Сопоткин. – Не понимаю. Он-то тут при чём?

– Элементарно, дорогой Константин Петрович. Элементарно. Ведь именно он рассказал вам легенду о Безголовом Призраке? Так? И никто, кроме него, наверняка, не знал, что вы нынче решили прогуляться по кладбищу... Готов поспорить, старик просто-напросто решил позабавиться, подшутить над двумя заезжими доверчивыми иностранцами. Ну, и заодно, поддержать репутацию родного погоста.

– Невозможно! – отрезал Сопоткин. – Он вовсе не производит впечатление легкомысленного типа. И потом... Потом, виденное нами отнюдь не походило на маскарад. Вспомните отрубленную голову! Бр-р-р! Просто дрожь берёт...

– Ах, бросьте, – пренебрежительно махнул рукой Костромиров. – Подумаешь, голова! С таким же успехом то могла быть хэллоуиновская тыква со свечой внутри.

– Тыква? – с сомнением повторил Константин Петрович. – Не очень-то она смахивала на тыкву.

– А вот, поди знай, – отозвался Костромиров. – Поди знай...



Пётр Георгиевич Гулдедава – поэт, член МГО СП России и Академии российской литературы. Автор четырнадцати книг поэзии и прозы. Дипломант и лауреат московских и всероссийских конкурсов. Живёт в Москве.



На высоких миров параллелях...

На высоких миров параллелях
Принимая победный парад,
Сонмы ангелов в серых шинелях
По-над площадью Красной парят.

И горят ордена ветеранов,
Словно отблески памятных гроз.
И транслируют с телеэкранов
Знаки скорби и радостных слёз.

И как будто бы вижу я лица,
Что глядят из грядущих веков,
Как несут по весенней столице
Фотоснимки бессмертных полков...

Оставаться навек молодыми
Довелось нашим предкам суметь.
Тем, кто вечно пребудут живыми,
Как смертями поправшие смерть!

9 мая

Грохочет ликующий пир,
Ломая привычные нормы.
Из хаоса созданный мир
Стекается в стройные формы.

Сознание шагает вперёд
По тропам судеб непреложным,
И новое вдруг создаёт,
Что каждый считал невозможным.

И слуги былых мыслеформ,
Заполнивших клетки сознания,
Жуют животворный попкорн
Открытого нового знания.

Стараются в ногу идти,
Вздыхая, что поиск не вечен.
В отрезках земного пути
Континиум быта конечен.

Но вся эта мнимая боль –
Цунами в отпитом стакане.
Не надо делиться на ноль
И ум забивать пустяками.

Вступая в обыденный бой
На зеркале злого сраженья,
Стремись, чтоб, спеша за тобой,
Отстало твоё отраженье...

Мы слёзы сердечной мольбы
Века в Небеса возносили.
И люди сильнее судьбы,
Поскольку, кто верит – всемогущ!

Когда привычно всем подругам
Я не пою, как соловей,
Суровый тон считают грубым
На фоне нежности моей.

В попытках добрыми делами
Убавить груз былой вины –
Им только внутреннее пламя
И злые помыслы видны.

Но я душой своей и кровью
Влюблённым буду до конца.
А чем ещё, как не любовью,
Согреть остывшие сердца?

Аутофобия¹

Я в сиропе наслаждений плавал
И не знал, что кану сгоряча
В омут одиночества, где дьявол
Жарко дышит с левого плеча.

Не спасут любовные буксиры,
Не помогут, искренно чисты,
Добрых пожеланий эликсиры,
Честные заздравные тосты.

Скованный печалью и болезнями,
Без стихов я не живу ни дня,
Заглушая музыкой поэзии
Боль души, гнетущую меня.

Единорог

Хотя веков прошло довольно много,
Но счастье все желают испытать,
И люди через рог единорога
Пытаются судьбу захомутать.

И на земле вовсю бушуют страсти, –
Камо ты, человечество, грядешь?² –
И возбуждают родовые распри
И миражи несбыточных надежд.

Но нравы не меняются века,
И к нам не зря от предков докатилась
Пронзительная мудрая строка,
Что «память – дар Богов, забвенье – милость!»

Не стали б мы ловить единорога,
Когда бы были более мудры,
И, получая милости от Бога,
Старались развивать Его дары!

¹ Аутофобия – боязнь одиночества

² Камо грядеши? – (старослав.) куда идёшь?





Сретение

Февраль в Москве, как всегда, погодой не баловал. Казалось, ему доставляет особое удовольствие куражиться над горожанами, демонстрировать все прелести своего вздорного характера: и холодный ветер с дождём, и внезапные перепады температуры, и неизбежную гололедицу. Стиснув зубы, москвичи терпеливо ждали окончания долгой, нудной зимы, как ждут отъезда загостившейся престарелой родственницы.

Хотелось тепла и Анне, но жизнь научила её искать источники вдохновения внутри себя. Для Анны последний зимний месяц был связан с приятными хлопотами. Приближалась серьёзная дата, пятнадцать лет их совместной жизни с мужем. Не рекорд, конечно, до серебряной свадьбы ещё далеко, но по нынешним временам и такой срок достоин уважения. Душа просила праздника. Анна намеревалась отметить эту дату не пышным застольем, а каким-либо памятным подарком. Ей хотелось подарить мужу что-то такое, что подчёркивало бы важность пройденного ими пути, представляло бы не совместную собственность, а общую ценность.

В поисках подарка Анна заглянула в картинную галерею недалеко от своего офиса. В небольшом уютном помещении были представлены живописные и скульптурные работы современных художников. В галерее почти никого не было, поэтому Анна могла не спеша внимательно осмотреть все экспонаты. Кое-что её заинтересовало, хотя сильного восторга не вызвало. Только в последнем зале она набрела на несколько работ одного художника, от которых забило сердце. Пейзажи были выполнены в импрессионистической манере в тёплой, светлой гамме. От них шёл заряд положительной энергии. Особенно понравилось Анне одно полотно с изображением осеннего леса. Нагнувшись, она прочитала на табличке: Илья Даньшин, «Поляна сказок». Полюбовавшись картинами ещё немного, Анна решила



Евгения Васильевна Полякова – прозаик, критик. Родилась в Москве. Окончила МГПИИЯ им. М. Тореза, работала переводчиком, преподавателем. Литературной деятельностью начала заниматься в 2018 г. Публиковалась в альманахе «Славянские встречи», в альманахе «Чонгарский бульвар», в литературно-историческом журнале «Великороссь», в журнале «Московский вестник», в литературно-художественном журнале «Свет столицы», в газете «Московский литератор». Член литературного объединения «Чонгарский бульвар». С 2020 г. член Московской городской организации Союза писателей России. Живёт в Москве.



не торопиться с выбором, благо, время для поиска подарка оставалось, и отправилась домой.

Следующие несколько дней Анна мыслями всё время возвращалась к «Поляне сказок». Картина не отпускала ни днём, ни ночью, настойчиво напоминала о себе, звала. Для очистки совести Анна посетила пару сувенирных магазинов и ещё одну галерею, но то, что она там видела, не шло ни в какое сравнение с осенним пейзажем. Поняв, что с этим наваждением невозможно бороться, Анна решила остановить свой выбор на работе Ильи Даньшина.

Оказавшись в галерее, Анна сразу прошла к картинам этого художника. Больше всего она боялась, что полотно уже купили, что она прозевала своё счастье. Нет, пейзаж был на месте, картина терпеливо ждала Анну. Казалось, увидев знакомое лицо, «Поляна» радостно засветилась изнутри, улыбнулась ей как старому другу. Анна ещё раз проверила свои ощущения: да, она просто обязана приобрести эту работу, без неё не будет ей покоя!

Сотрудники галереи рассказали, что изначально художник назвал пейзаж «Поздняя осень», но потом переименовал его в «Поляну сказок». Действительно, что-то сказочное, надмирное было в этой работе. На переднем плане высокие деревья с пожелтевшими листьями по краям картины напоминали кулисы. Занавес раздвинулся, и перед зрителем приоткрылась лесная лужайка. На заднем плане высится стена окутанного туманом леса. Солнце только-только поднялось над деревьями, его первые лучи коснулись травы на поляне. Перед ней спиной к зрителю стоит человек. Он замер в восхищении, боится спугнуть это волшебное мгновение.

Узнав стоимость экспоната, Анна не стала торговаться, хотя видела, что сотрудники галереи были готовы сбавить цену. Была в этой картине какая-то загадка, тайное послание, ценность, которую деньгами не измеришь.

Через несколько дней, в годовщину свадьбы, Анна подарила картину мужу. Тот не считал себя знатоком живописи и, боясь обидеть Анну, был очень осторожен в высказываниях, но по его лицу она поняла, что картина не понравилась. Гораздо категоричнее в оценках был отец Анны. Он неплохо разбирался в живописи, но был достаточно консервативен в своих вкусах: признавал исключительно реалистическое направление в искусстве. Его кумиром был Карл Брюллов. Он даже написал роман, где жизни и творчеству «Карла Великого» было уделено немало страниц. «Поляну сказок» он назвал мазнёй: сюжета как такового нет, нет и чёткого рисунка. Человеческая фигура изображена весьма условно. Техника живописи открытыми мазками, когда краски не смешиваются и при близком рассмотрении представляют мешанину. «Так и я могу», – был его вердикт. Анна не стала спорить, но поняла, что фактически сделала подарок себе самой. Совесть её при этом не мучила, она не отвергала мысль, что саму себя можно и нужно изредка баловать подарками.

Всё, что отец считал недостатками картины, Анна относила к числу достоинств. Работа Ильи Даньшина была для неё квинтэссенцией импрессионизма. Художника в первую очередь интересует состояние природы. Краски неяркие, но цветовая гамма тёплая, присущая осени: оттенки коричневого, жёлтого, серого и розового. А осень была у Анны любимым временем года. Глядя на картину, она ощущала эстетическую и энергетическую подпитку.

Анна очень любила импрессионистов. Они не рассказывают историю, как художники-реалисты, и не зашифровывают свои послания, как символисты

или авангардисты. Импрессионисты обращаются к зрителю как к со-творцу произведения. Восприятие их живописи очень зависит от духовного и культурного багажа смотрящего. Художник берёт зрителя за руку и готов путешествовать с ним «в любую сторону его души».

Картину повесили, как оказалось, очень удачно: на восточной стене комнаты. Лучи восходящего солнца светили на полотно не напрямую, а отражаясь от зеркальной дверцы шкафа, стоящего напротив. Таким образом, они не спорили с замыслом художника, а наоборот, усиливали его, создавая удивительную игру света. Картина как бы оживала изнутри, розоватые оттенки становились ярче. Анне казалось, что она чувствует тепло утренних лучей, слышит, как просыпается лес. А вот вечернее, закатное солнце, проникая в комнату, освещало полотно мягким, приглушённым светом, сообщая ему дополнительную глубину.

Анна любила иногда посидеть в кресле рядом с картиной и поразмышлять: что чувствует изображённый на ней человек? Что заставило его остановиться в благоговении? По-видимому, нечто высокое коснулось его сердца. Что-то он понял про жизнь и про себя, что повлияет на всю его дальнейшую судьбу.

Через несколько лет у картины появились vis-a-vis: две иконы. Образы Христа и Богородицы повесили в «красном», правом углу комнаты, как раз напротив «Поляны сказок». Других произведений изобразительного искусства в комнате не было.

Постепенно у Анны возникло странное чувство, что между картиной и иконами существует некая связь. Они как будто общались друг с другом, передавали какие-то сигналы. Анна отмахивалась от этой мысли, отгоняла как наваждение, но ощущение диалога между изображениями не покидало её.

Однажды ночью Анне не спалось. Февральский ветер ударял в окна, сыпал мокрым снегом. Анна тихонько встала, чтобы не разбудить мужа, и вышла из спальни. За окном чернела ночь. Город спал, ни одно окно не светило, вечерняя подсветка зданий тоже была выключена. Душа томилась каким-то ожиданием, как будто хотела откликнуться на чей-то зов. Неслышно ступая, Анна вошла в комнату, где висела картина с иконами. То, что она увидела, потрясло её до глубины души: между иконами и картиной протянулся луч света. Немигающий световой поток шёл от одной стены к другой. Анна проверила: это не было отражением какого-то постороннего светового источника, и в комнате, и на улице было совершенно темно. Анна поняла, что присутствует при каком-то таинстве, и в смущении покинула комнату.

На следующее утро всё было как всегда, в помещении ничего не изменилось. Анна решила никому ничего не рассказывать. Что-то подсказывало ей, что лучше помолчать об увиденном. На кухне она перевернула листок церковного календаря. Неделя была посвящена Сретению, одному из двенадесятих православных праздников. Анна очень любила этот праздник, восхищалась его глубоким смыслом. По церковному преданию, на сороковой день после рождения Иисуса Мария и Иосиф принесли младенца в храм, чтобы принести очистительные жертвы. Там их встретил старец Симеон. Ему было предсказано, что он не умрёт, пока не увидит Мессию, Спасителя рода человеческого, которого иудеи ждали в течение нескольких веков. Взяв на руки младенца, Симеон понял, что это и есть Христос, Спаситель. Великое пророчество свершилось, и теперь он может спокойно умереть. Сретение на церковно-славянском языке значит «встреча». В широком смысле

Сретение означает встречу человека с Богом. На календаре был изображён фрагмент иконы, которую Анна раньше не видела: «Души праведников в руке Господней». Фреска из церкви Святых Апостолов в греческом городе Салоники имела отношение к строкам из главы 3 Книги Премудрости Соломона: «А души праведных в руке Божией, и мучение не коснётся их». Души праведников как маленькие спелёнутые младенчики покоились в большой ладони, изогнутой ковшом. Образ был очень наивным, но понятным, доходчивым. Анна даже вспомнила, как много лет назад она впервые взяла в руки Библию и прочитала несколько глав. Ночью ей приснилось, что она находится в какой-то ладье или колыбели, которая плавно покачивается из стороны в сторону. Такого чувства покоя, защищённости, как в том сне, Анна никогда не испытывала. Она продолжала рассматривать фреску, как вдруг что-то знакомое почудилось ей в этом образе. Анна поспешила к картине. О чудо! Пространство между деревьями по краям картины как раз и напоминало изогнутую ковшом большую руку, спустившуюся с небес. Она как бы приглашала человека взойти на неё, обещала защиту и покой. И сразу картина приобрела новый, гораздо более глубокий смысл. Человек встретился с чудом, его сердца коснулся Божественный свет. Произошла та самая встреча с Богом, Сретение, к которому вольно или невольно стремится каждый. И если такая встреча происходит, жизнь расцветает новыми красками. Анна вспомнила песенку, которую её дочь учила в детстве в церковно-приходской школе:

*На ладони Божьей птичку не пугает зло.
На ладони Божьей человеку так тепло!
Каждый найдёт там место, и малый, и большой,
И никому не тесно на ладони дивной той.*

Анна так и не обсуждала свои соображения ни с кем из домашних. Они были заняты своими делами, заботами и, наверное, не отнеслись бы к её словам серьёзно. А может, ещё хуже, задавили бы иронией и скепсисом. Анну переполняла радость от сделанного ею открытия. Но одновременно она сомневалась, не приписывает ли она художнику лишнее? Иногда бывает так, что всякие высоколобые искусствоведы находят такие скрытые смыслы в произведении искусства, что автор сам диву даётся! Может, художник решал чисто живописные задачи, но ни о чём сакральном и не помышлял? Как это узнать, ведь Анна не была знакома с художником и не могла задать ему эти вопросы? Среди её окружения был только один человек, с кем Анна могла открыто говорить о таких сокровенных вещах: её старшая подруга Ольга Матвеевна Преображенская. Они познакомились несколько лет назад на художественной выставке, потом принимали участие в Круглом столе, посвящённом творчеству московских художников. Ольга Матвеевна была профессиональным искусствоведом, человеком очень разносторонним и эрудированным, при этом лишённым малейшего снобизма. Ольга Матвеевна рассуждала об искусстве без профессионального сленга, выражала свои мысли ясно и просто. Они жили на разных концах Москвы, обе много работали, виделись нечасто. Наконец удалось договориться, что искусствовед приедет к ней в гости. Анне не терпелось показать картину и рассказать о своих догадках.

Ольге Матвеевне пейзаж очень понравился, она поздравила Анну с удачным приобретением. Когда же та рассказала о волшебном луче,

соединявшим картину и иконы, Ольга Матвеевна не только не удивилась, но напротив, понимающе закивала головой.

– Да, я часто наблюдаю подобные явления. Произведения искусства – они же все живые. Помню, Ирина Александровна Антонова, директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина, говорила, что не только мы смотрим на картины, но и они на нас. А я бы добавила, что произведения искусства смотрят и друг на друга и выбирают, с кем общаться, а с кем нет. Вы хорошо сделали, что не повесили иконы и картину рядом, ведь по правилам церковное искусство не должно соседствовать со светским. Но они нашли друг друга, что меня совсем не удивляет. Ведь основная цель художников-импрессионистов (а Илья Даньшин, безусловно, импрессионист) – передать свет. Та же цель у иконы, ведь «Бог есть жизнь и свет, и находящиеся в руке Божией пребывают в жизни и свете», как сказано в Книге Премудрости Соломона. Иконы подпитывают картину, усиливают её посыл, живительное воздействие на зрителя.

– Да, интересно. А как же моя догадка о деснице Божией? – спросила Анна.

– Я думаю, вы недалеко от истины. Илья Даньшин, безусловно, верующий человек. Притом верующий по-настоящему, из глубины души. Я видела много его работ. На его картинах нет золотых куполов, какой-то подчеркнута церковной атрибутики. Для него храм – природа, и Божье дыхание ощущается в каждом его произведении. Я вот смотрю на «Поляну сказок», а в голове у меня звучит романс Рахманинова «Здесь хорошо»:

*Здесь нет людей...
Здесь тишина...
Здесь только Бог да я.*

– И всё же, интересно было бы узнать, использовал ли Даньшин образ ладони Божией, когда писал свой пейзаж? Знаком ли ему этот иконописный сюжет? – не унималась Анна.

– На этот вопрос я не смогу ответить однозначно. Но вы можете спросить художника сами. Он часто принимает участие в выставках. Да у него, по-моему, есть свой сайт, там наверняка есть его координаты.

Сайт действительно нашёлся, очень информативный, и Анна нашла там подтверждение многим своим мыслям. А вот про использование образа Божией десницы при написании «Поляны сказок» решила не допытываться. Иногда стремление слишком глубоко проникнуть в творческую лабораторию художника вредит общему впечатлению. Схватишь бабочку, чтобы лучше её рассмотреть, – руки окажутся в пыльце с крылышек, а бабочка не сможет летать. Анна поняла главную ценность работ Ильи Даньшина. До импрессионистов в центре внимания художников был человек и все человеческие отношения. Начиная с Клода Моне, который, собственно, и явился родоначальником этого направления, главным героем живописных полотен стал свет, а человек оказался просто включённым в пространство. Даньшин взял эстафету у импрессионистов и пошёл дальше. Человек, если и присутствует на его полотнах, то как образ Божий, каким он и был задуман Творцом. Художник стяжал дух мирен, и благодаря его полотнам спасутся тысячи.



ПОЭЗИЯ

Элла КУЗНЕЦОВА

Элеонора Валентиновна Кузнецова – поэт. Родилась в Москве. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии МОО СП России «Золотое перо Московии». Награждена орденом «За вклад в литературу России XXI века», медалями: «За мастерство и подвижничество во благо русской литературы», «Великий князь Сергей Александрович», «За Победу!», а также Дипломом «Победитель конкурса «Путешествие в страну чудес» с вручением именной статуэтки в номинации «Поэзия».

Живёт в Москве.



Пушкин в вечности живёт

К Пушкину

Я помню с детских ранних лет
Вечерней лампы тихий свет...
Прижавшись к валику дивана,
Про царство славного Салтана,
Про Золотого петушка
Внимала крохой, чуть дыша,
Когда мне Пушкина читала
По многу раз и всё сначала
Бабуля милая моя,
Тепло души своей даря.

Живут те сказки неразлучно...
В душе моей витая звучно,
Летит божественный глагол
Сквозь океан поющих волн.
Идём мы к Пушкину навстречу
Возвысить душу человечью –
Гордимся гением своим,
Непревзойдённым и родным.
И как над нами небосвод,
Так Пушкин в вечности живёт!

Песнь далеко летит и звонко –
Фашиста бесит и подонка.
Но как ни грезили враги,
Всё ж, отступая не смогли,
Напичкав минами могилу,

Взорвать бессмертное Светило!
Сожгли в Михайловском музей,
И домик Няни поскорей
Сумели уничтожить звери...
Но – восстановлены потери!

Поэта всей страну чтим,
Любовь к нему в сердцах храним,
Оберегаем как святыню,
Живой Поэзии твердыню.

Да! Это произошло во время Великой Отечественной войны. Перед своим отступлением немецко-фашистские варвары, зная, что значит для русских Пушкин, заминировали Святогорский монастырь и могилу поэта, устроив там настоящую западню для советских солдат и офицеров. А в Михайловском враги разграбили и спалили дом-музей поэта, а также разобрали себе на блиндаж домик его няни. После изгнания захватчиков Советское правительство приняло все меры к скорейшей реставрации могилы Пушкина и восстановлению всех ценных для нашей культуры памятников.

Пушкинский заповедник, могилу Александра Сергеевича народ чтит и оберегает как свою национальную святыню.

Пройдя освободительным движением по Европе, Советская Армия не осквернила, не разрушила памятники тех стран, которые пришли на нашу землю под знамёнами Гитлера.

И страшно осознавать, что существуют в наше время мерзавцы, способные посягать на нашу Церковь, на наши исторические памятники и с неимоверной наглостью готовы делить между собой территорию нашей большой страны. Лишённые совести и чести, они с ненасытностью хищников снова на нас нападают с желанием уничтожить всю великую русскую нацию – нацию Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, Сеченова и Павлова, Глинки и Чайковского, Толстого и Чехова, Пушкина и Лермонтова.

Имя Пушкина в этом ряду славнейших сынов нашей Родины, как Поэта и патриота своей страны, создателя русского литературного языка, олицетворяет духовное величие и мощь нашей культуры.

*«Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит».*

А.С. Пушкин. «Памятник»



Сергей Юрьевич Газин – поэт. Член Союза писателей России. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Автор 13 книг стихотворений. Награждён орденом «За вклад в литературу России XXI века» и медалями: «За мастерство и подвижничество во благо русской литературы», «За Победу!» и др. Лауреат премий МОО СП России им. Ярослава Смелякова, Евгения Зубова и «Золотое перо Московии». Кавалер Золотой Есенинской медали.

Живёт в Москве.



Гений Пушкина – бессмертен!

На Руси поэтом быть –
Значит, Родину любить!
И нести всем людям Свет
Для спасения от бед.
Прометей огонь принёс,
А спасение – Христос,
Сердцем Данко спас народ,
Озарив весь небосвод...
Гусляры – бояны Божьи,
Все поэты были тоже –
На пирах или в боях
Воспевали Русь в стихах.
Поэтичный разговор –
Наш язык с далёких пор!

Бессмертие Пушкина

Нам Дантес не интересен –
Карьерист с пустой душой.
Гений Пушкина – бессмертен,
В каждом сердце он живой!
Враг безжалостный, коварный,
Подло выцелил в живот –
Это выстрел не случайный,

Точно знал, – поэт умрёт...
 Мог же выстрелить прям в сердце,
 Но промашку не простят –
 Кто замыслил злое дельце,
 Кто Поэту был не рад.
 Не поправить что случилось...
 Пушкин умер... Но он жив!
 Заслужил Господню милость,
 Душу к Богу устремив...

В снегах

Снега белели на Руси,
 Повсюду слышалось: «merci»!..
 Француз же, выстрелив в поэта,
 Плевал на Русь и мнение света.
 Мы не забудем той дуэли,
 Как Вечность – пушкинской «Метели».
 Спасибо Пушкину! В снегах –
 Обрёл бессмертье он в веках.

Чёрная речка

Занесло снегами
 Чёрную речушку...
 И за облаками –
 Только эхо: «Пушкин!»..
 Золотой строкою –
 Через бесконечность,
 Светлую рекою –
 Он уходит в Вечность...

Со-весть это с Богом связь.
 Кто бессовестный – безбожен,
 Собирая всюду грязь,
 Смыть не сможет, – обезвожен..
 Божья Весть живой водой
 Омывает наши души,
 Чтоб нелёгкий путь земной
 Вёл не в ад, а к райским кущам..
 Есть свобода выбирать,
 Что тебе подскажет сердце?
 Но спроси отца и мать –
 Где добро, а где злодейство?!..

Земля жива и уникальна,
 Сам Бог создал её для нас..
 Здесь жить и жить бы беспечально,
 Но не даёт злой Карабас.
 Он ходит с плёткой-семихвосткой
 И лупит кукол почём зря,
 Он негодяй ужасно злостный,
 Обманом всех вокруг дуря..
 Но Карабасом правят бесы,
 И жадность губит и его..
 Его судьба неинтересна –
 Исчезнет, только и всего.
 Земля же будет жить и дальше,
 Недаром Богом создана
 Для жизни радостной, без фальши,
 Где мир царит, а не война!

Войну рождает злой расчёт,
 Она захватами живёт..
 Коль бес гуляет в головах.
 В них исчезает божий страх,
 И про возмездие забыв,
 Глупцы готовят адский взрыв..
 Но дьявол-лжец обманет их,
 Сгорят в аду в единый миг –
 В раю такие не живут,
 Настал ведь Гитлеру капут!..

Кратковременна песня земная,
 Сколько в мире стенаний от бед!..
 На страданья людей обрекая,
 Мраком зла затмевается свет..
 Под руинами корчатся дети
 От обстрелов ракетным огнём,
 И разносит пожарище ветер,
 Где стоял миг назад мирный дом..
 Это кто же придумал такое –
 Убивать неповинных людей?!
 У кого сердце чёрное злое
 Алу кровь пьёт из малых детей?..

Сатанинско-звериное племя
 Жадно ищет, кого бы сожрать...
 Лишь Мессия спасёт это время,
 Дав России могучую рать!
 И омоются кровью своею
 Те, кто сеял жестокость и смерть,
 В зле всё больше и больше зверея,
 По судьбе им, как псам, околеть...
 И вольётся свет в новые песни,
 Озаряя любовью сердца,
 Чтоб надежда и вера воскресли
 Чтобы жизнь не имела конца!

Бумажный беспилотник

Бумажный самолётик,
 Запущенный с мечтою –
 Февральский беспилотник,
 Летящий за весною.
 Листочек из тетради,
 Взлетает голубочком
 С посланьем к русской рати –
 Для папы от сыночка.
 – Мы ждём тебя, родной наш!
 Мы верим – в день заветный,
 Ты всем врагам отпор дашь,
 Настанет час победный!
 Бумажный беспилотник,
 Запущенный зимою –
 Отважный самолётик,
 Готовый с папой к бою!



ПРОЗА

Юлия АЛЕКСАНДРОВА

Один шаг

Стоял декабрьский морозный день. Дул холодный пронизывающий ветер. Редкие прохожие, время от времени сняв варежки, дышали на руки, стараясь их согреть. Ксения возвратилась из магазина с двумя пакетами с провизией. Привычным взглядом окинула почтовые ящики и заворчала: «Опять рекламу накидали да газет... Нужно бы освободить...» Но не смогла. Руки замёрзли и не слушались. Поднялась на лифте и, поставив пакеты на пол, собралась было достать ключ, как дверь распахнулась, и муж Арсений переступил порог, забрал у неё пакеты и, сердито сказав «А я у тебя на что?», двинулся на кухню. «Так я думала, что ты ещё на работе, а в холодильнике шаром покати, вот и пошла за провизией». О том, чтобы заказать продукты из магазина, и речи быть не могло, ведь с техникой супруги не очень дружили. «Вот если бы внук был рядом!» – подумалось обоим. И тут у Ксюши зазвонил телефон. Незнакомый номер. Неужели Егорка? Вот радость-то! «Иди скорей сюда!» – позвала она мужа, так как всю жизнь делились они и горем, и радостью.

Арсений и Ксения были из одного посёлка, из одного детского дома, учились в одной школе, в одном классе. Они даже в кружок танцев ходили, и у них здорово получалось вместе танцевать, но женихом и невестой их никто не дразнил, так как они были просто закадычными друзьями: Сеня носил Ксюшин портфель, чинил его замок, который постоянно ломался, а та кормила его плюшками, которые девочки пекли на уроках труда.

После восьмого класса их пути разошлись. Арсений поступил в электромеханический техникум в областном центре и получил комнату в общежитии, а Ксения перешла в школу-десятилетку, так как хотела получить высшее образование. Через два года её мечта сбылась, и она стала студенткой областного пединститута, попрощавшись с детством. Однако новая жизнь,



Юлия Геннадиевна Александрова – преподаватель английского языка, доцент Всероссийской Академии Внешней Торговли. Поэт, прозаик, член МГО СПР с 2009 г. Печатается в газете «Московский литератор», журналах «Великороссъ» и «Свет столицы», альманахах «Академия поэзии», «У Никитских ворот». Автор семи сборников лирических стихотворений и четырёх сборников городских рассказов. Награждена дипломами за верность служения отечественной литературе с вручением ордена «В.В. Маяковский» и медалей «М.Ю. Лермонтов» и «И.А. Бунин». Живёт в Москве.



наполненная интересными предметами, общением с одноклассниками и романтикой общаги, не отбила желаний заниматься танцами. В местной газете прочитала она объявление о наборе в танцевальный класс в районном доме культуры, который был совсем недалеко от их общежития, и отправилась туда в назначенный день и час. Каково же было её удивление, когда она увидела там Арсения, ведь в их редкие встречи в родном месте он никогда не упоминал о занятиях танцами. Когда заиграла медленная мелодия, Сеня обнял свою партнёршу и повёл её в танце. В этот момент они оба впервые почувствовали, что скользят не по паркету дома культуры, а вальсируют где-то над землёй, и все крыши зданий слышат, как бьются их влюблённые сердца. Так начались их уже взрослые отношения.

Через год Арсения призвали в армию. Ксения ездила на Присягу, потом ждала его и писала письма. Через два года он вернулся, слава Богу, цел и невредим, и окончил техникум намного раньше, чем Ксения стала дипломированным учителем математики, и устроился на работу, ибо люди с золотыми руками и хорошим образованием были очень востребованы.

Арсений работал, Ксения училась. Жили в разных общежитиях, встречались по выходным, гуляли, ходили на танцы, а через год Сеня решил сделать любимой предложение, так как начальство решило их квартирный вопрос – молодому специалисту дали комнату в коммуналке. И в день свадьбы Арсений с молодой женой на руках, светясь счастьем, переступил через порог их собственной комнаты, пусть и в коммунальной квартире. Их соседкой была Ольга Кирилловна. Женщина проработала всю жизнь учителем математики в школе, поэтому помогла Ксении, которой оставался год до окончания вуза, пройти практику в школе, сдать предмет и защитить диплом по методике. Она даже порекомендовала Ксению на своё место, ибо собиралась уходить на пенсию, пообещав помочь в решении всех неудобных вопросов. Из уважения к заслуженному учителю директор согласилась, и когда Ксения родила Настеньку, то в декрете была совсем недолго, так как Ольга Кирилловна стала её няней. Ксения Владимировна вышла на работу сначала на несколько часов в двух восьмых классах, а когда закончила кормить малышку, то согласилась на полную нагрузку.

Танцы были по-прежнему увлечением молодых родителей, поэтому Ольга Кирилловна отпускал их в дом культуры на пару часиков, несмотря на то, что это была суббота и она могла бы отдохнуть от обязанностей вечной няньки. А чтобы Ксения могла подольше побыть с ребёнком, Ольга Кирилловна частенько проверяла горы тетрадей, которые она каждый день притаскивала из школы. А учили Настеньку уму-разуму все по очереди: и мама, и папа, и «баба Оля» (так она называла свою няню). Настюша росла смышлённым ребёнком, и родители решили отдать её в школу в шесть лет. Девочка училась с удовольствием, но не была отличницей – могла и низкую оценку запросто получить. Баба Оля всегда узнавала, как прошёл её день, по скрежету ключа в замке. Когда она делала всё громко, то было ясно, что в дневнике отличная оценка, а может, и не одна. А вот если ключ скользил мягко, чуть слышно, то, значит, ей было что скрывать от родителей.

Настя мечтала уехать учиться в МГУ, но дома понимали, что знаний, полученных в областной школе, может оказаться недостаточно для поступления. Поэтому пока Настя училась в девятом и десятом классах, Ксения работала на двойной ставке, а Арсений устроился на вторую работу, чтобы оплачивать её репетиторов. На дворе был 1993 год. Настя подала заявление

на факультет филологии, но конечно не поступила, потому что не добрала одного балла. Обидно было ужасно. И стыдно перед родителями, ведь столько денег в неё вложили. Возвращаться в родной город не захотела. Устроилась на рынок, сняла комнату. Стала «челночить». В основном в Польшу.

Мечтала через год поступить, но Судьба распорядилась иначе. Её, молодую и неопытную, соблазнил женатый мужчина. Он подошёл к ней на рынке и попросил привезти две пары кожаных ботинок. Настя выполнила его просьбу, за что получила приглашение в театр. Но это было только начало. Он так красиво ухаживал, что Настя не устояла, и её планам об учёбе пришёл конец. Как только Борис узнал о Настиней беременности, то сразу вспомнил, что у него семья и двое детей-погодков. Настя позвонила маме. Ксения велела ей немедленно ехать домой. Её слова прозвучали, как приговор: «Пока мы с отцом работаем, да Ольга Кирилловна жива, у тебя всегда будет крыша над головой и тарелка супа каждый день». «А как же Егорка?» (Настя уже имя сыну придумала). «Тебя вырастили и его вырастим!»

Егорка родился в срок. Щекастый такой бутуз с лучистыми Настиними глазами. Несмотря на малогабаритную квартиру, в семье царил гармония. Поначалу Настя была хорошей мамой, но когда Егорке исполнилось три года, у неё появился ухажёр, и она переехала к нему, забросив учёбу и продолжив привозить товар и торговать теперь уже на местном рынке, а малыш остался жить с бабушкой и дедушкой.

Ольга Кирилловна составила завещание в пользу Арсения и Ксении, так как они давно стали её семьёй, и после её смерти у Егорки появилась своя комната. Парнем он был очень общительным, и в его комнате всегда было шумно и весело: сначала одноклассники, затем однокурсники (парень поступил в областной институт), а потом и армейские друзья часто бывали здесь. Да и барышни (одна другой краше) были здесь частыми гостями, ведь Егор отлично играл на гитаре и обожал танцевать (гены бабушки и дедушки передались через поколение). Однако свою единственную он ещё не встретил.

1 октября 2022 года пришлось на субботу. В доме у Арсения и Ксении былолюдно: собрались родственники и близкие друзья – провожали Егора на СВО. Ксения перекрестила любимого внука и прочитала молитву. Присели на дорожку. Встав, он их всех расцеловал и пообещал вернуться с победой.

Звонил он им пару раз с незнакомых номеров, разговаривал мало – на фронте не до разговоров. И вот сейчас снова незнакомый номер. Позвав мужа, думая, что это Егорка, Ксения схватила трубку. Как ни старалась, она никак не могла вникнуть в смысл слов: «В одном взводе... Егор погиб...». Ксения медленно сползла на пол. Арсений попытался её поднять, но не смог: обмякшее тело было очень тяжёлым. Тогда он присел на корточки рядом с женой, взял её руки в свои и, посмотрев на неё, спросил: «Егор?» Ксения кивнула. В голове вертелась фраза: «От счастья до горя один шаг... один шаг».





ПОЭЗИЯ



Ирина ПИЧУГИНА

Ирина Николаевна Пичугина (Дубовик) – уроженка Урала. В 1980 г. окончила Московский Институт иностранных языков им. М. Тореца, работала преподавателем кафедры иностранных языков в Московском Институте лёгкой промышленности, затем переводчиком в филиале АН СССР (Институт Химфизики). Печаталась в газете «Завтра», в коллективных сборниках «Георгиевская лента 2021-2025», «Русь моя 2022», «Дебют 2021».

Живёт в Белгороде.



Весна в приграничье

Разговор с Войной

Кто там стучится у дверей?
Кто стонет громко у окна?
Кто просится войти скорей?
– Не бойтесь, это я – Война!

Кто к нам вошёл в счастливый дом?
А двери кто спалил дотла?
Кто учинил такой разгром?
– Встречайте, это я – Война!

Кто гонит нас из наших мест?
Кто горечью поит до дна?
Кто ставит на могилах крест?
– Конечно, это я – Война!

Кто в смерти лишь даёт покой?
Кто шлёт пожары – степь черна!
Кто кровь-руду отверз рекой?
– Привратник ада – я, Война!

Всех убиваешь не щадя!
Дика ты, безобразна, зла!
А чем же нам убить тебя,
Старуха страшная, Война?

– Ты меч испробуй и огонь,
Она речёт, глумясь сполна,
– Лишь только золото не тронь,
Из-за него ли я, Война?

Подснежники

*Весной вокруг Шебекино по старым окопам
цветут подснежники, память о Курской дуге...*

Трепещут горькие осинки.
Они страшатся новых битв.
Смолу, как слёзы, льют хвоинки
Жалея тех, кто здесь убит...

И до сих пор не затянулись раны,
Где ни копни – звенит металл войны.
Но тает снег, и веет духом пряным,
Подснежники бесхитростно вольны.

Они прозрачной синевой укрыли
Все раны вздыбленной войной земли,
Что столь обильно кровью оросили,
Где уступить ни пяди не могли.

Природа чистою слезой омыла
Окопы, доты, что у той черты.
На братские могилы положила
Весенние и нежные цветы.

Так было много раз...

Всё было много-много раз,
Когда – безверие на веру,
Когда один звучал приказ:
– Воздай же мерой ты за меру!

Когда прощались у крыльца,
И тщетно ждали треугольник,
И видел сын во сне отца,
Судьбы сиротской уж невольник.

Так было раньше и теперь,
Свеча горела на погосте,
Но не закрыли вере дверь,
Когда с добром являлись гости.

И не давали злу царить,
И отдавали кус последний,
Упрямо продолжали жить,
Без зависти к судьбе соседней.

А соловей не мог молчать...
Хоть под берёзой
В страшной схватке
Сошлись защитники и тать,
Чтоб выяснить миропорядки...

А соловей вздохнул рыдал
Под звёздно-властным
Небом ночи:
Вселенной видел он накал,
И истина слепила очи...

Он пел о свете и любви,
О россыпи росы на травах...
А там, под ним, хрипел в крови,
Кто грудью стал
За жизнь всех малых...

И в трелях песен соловья
Истаял выдох, всхлип последний
Того, кто стаи шакаля
Сдержал, не сдав рубеж наш древний.

Гроза и канонада

Гром гремит раскатом низким
В темноте.
Дождь шумит прибором близким...
Звуки те
Никого не испугают:
Дождь идёт!
Свежесть ночи, сердце тает,
И поёт!

Только утром вновь раскаты
В уши бьют.
Дождь же кончился, ребята!
Но несут
Волны звука злость заряда
И удар!
Что ж, война идёт здесь рядом...
Взрыв и гарь...

Шебекинское утро

*Изогнута ветвь,
Человек несгибаем.
Слива мэйхуа¹.*

Шторы колышет прохлада,
Раннее утро, рассвет.
В свистах и шелесте сада
Слышу я лета привет.

Край синей тучки алеет,
Дымка тумана вдали...
Что же поверить не смеет
Сердце цветенью земли?

Мощным тяжёлым раскатом,
Уханьем пенистых волн,
Залпы звучат перекатом:
Грохот орудий, их стон.

Мы – на границе разлома:
Мирная жизнь и война.
Здесь – лета лень и истома.
Там – боя будни без дна.

Здесь – разноцветьем мигая,
Клумбы во всех уголках.
Там – вражья воля больная
Смерть поселила и страх.

Весна у края России...

Стоят дубы, не зная страсти,
Зима-весна, опять зима...
Под ними в битве самовластий
Шумит людская кутерьма...
А по пролескам, по низинам,
Где странно вздыблена земля,
Ковёр нетканый, ярко-синий
Опять раскинул Лель, любя.

¹ Цветы дикой сливы-абрикоса мэйхуа нежно-розового или белого цвета в китайской живописи могут составить настоящую конкуренцию популярному бамбуку. Слива символизирует гордого и красивого человека с кристальной душой, несгибаемого и стойкого. Даже в сильные морозы эти деревья сохраняют в себе живые соки. Причудливо изогнутую ветку цветущей сливы прекрасно изображают художники Китая. Цветёт зимой.

И ароматом первоцветов
Заворожённые дубы
Застыли в мареве рассвета,
Весенней силою полны.
Пройдёт война, и мир рассудит,
И вновь воскреснет мирный край,
И жёлудь крохотный пробудит
Апрель опять: расти, вставай!
И молодые синеглазки
Протянут к солнышку ростки...
И детская душа, как в сказке,
Проложит к счастью мостки...

Броня и цветок

Металл брони и вой снаряда,
Взрыв, даль красна...
А рядом, не поверишь, рядом
Царит весна!

Представь, у птиц свои заботы,
Свои дела...
А по земле шагают роты,
Идёт война...

Кто крепче: танк стальной бронёю
Или цветок?
Чья мощь сильнее: ярость бою
Иль сока ток?

Как вешний снег сойдут печали
С родной земли.
Всегда врагу мы отвечали!
И вновь смогли!

Утро 5 октября 2023 г. Шебекино

И снова лопасть небо рубит,
Стесняя сердце по утрам.
Тревожный рокот сон твой губит:
Шипенье пусков, дребезг рам...

Когда вступают вертолётёты?
Когда идёт недалёкий бой,
За лесом грохот и прилётёты,
А небосклон-то голубой,

А солнце пригоршнями плещет
На сад твой тёплые лучи...
Но тяжело легли на плечи
Обстрелы днём, дуэль в ночи.

О чём ты думаешь, услыша
Воздушный рокот над собой?
Что пуск и свист снарядов ближе,
Чем рёв сирены – Боже мой!

На рубеже идёт сраженье,
На рубеже и кровь и боль,
И эхо светопреставленья –
Бессонница – на раны соль...

Сирена стонет, не смолкая,
Крушит твой город вражий сброд.
Но утешает мысль простая:
Край не сдаётся, край живёт!

Белеют в сумраке берёзы,
Чуть тише – трактор на полях...
Утри свои, Россия, слёзы,
И этот враг падёт во прах.

Весна в приграничье

Над домом – грохот, в доме – дрожь,
Неся посыл соседу,
С легавою повадкой схож,
Шёл вертолёт «по следу».

Уставя в землю круглый нос,
Он крутит лопастями,
И вот – пришёл, и вот – «принёс»,
В зените стал над нами.

Взорвало небо, обожгло,
Пошли ракеты к цели
И видно мне в моё окно
Как дали почернели.

Залп, едкий дым пороховой,
Вертушка отстрелялась.
Теперь – назад, домой, домой.
Летит, вершин касаясь.

Опять над крышею гроза,
Опять леса проснулись,
Опять сосновая слеза
Смолою протянулась,

Опять украсил солнца круг
Наш мир весны цветами
Но слышишь – взрывов тяжкий звук
Несётся над полями...

Мы

Ревут «грачи», скользя так низко.
И деловитыми шмелями
Вертушки по две, близко-близко
Ползут над тихими домами.

Приливом мощным – канонада.
Как будто волны бьют о скалы...
Ты не просил, но снова надо
Стереть фашистские оскалы.

Хотят ли русские сражений?
Да кто желает умирать?
Что ж? Русский мир без возражений
Нам покориться и отдать?

Но в «Сердце мира» цель снова
«Державы моря», вороньё,
Отравленное ложью слово
Вонзить желают как копье.

...Что ж, кто посеет распри ветер,
Тот им же будет и сметён.
Таков закон на этом свете.
И приговор произнесён.

...и они

Технократический изыск –
Инфовойна без конца.
Мало живущих унижить,
Нужно сломать и сердца.

В дикой, безумной раскраске,
Душу отдав Сатане,
Только лишь матами сказку
Пленные скажут тебе.

Как достучаться до смысла?
Клону не нужно души.
Низкие, мелкие мысли
Только ему хороши.

В бешенстве нарко-отпетом,
В мутном тумане войны
«Зраду» он видит победой,
Подлость – геройством, увы.

Выбора нет. Только в драку
С теми, кто в бешенстве злом
– «Всех москалей на гиляку!»
Вопит в бахвальстве пустом.

...На сталинградском кургане
Горечь не может сдержать,
Битву сынов наблюдая,
Общая Родина-мать.

Пусть будет мир!

Пусть будет мир!
И пусть замолкнут пушки.
И пусть не будет горя на земле.
И детям пусть не бомбы, а игрушки
Приснятся ночью в тёплой темноте...





Личная неосторожность

А уезжал из одного города, вернулся в тот же самый, но другой. Уезжал из одной страны – приехал в другую. И уже не я приехал – другой человек. Поэтому мне было неинтересно в этом городе. Лишь когда проезжал на такси по знакомой улице, всё же спросил у пожилого водителя: – Здесь раньше гараж был?

– Да, вот на этом месте, – водитель показал на огромный гипермаркет из стекла и бетона. – Этого крокодила на месте твоего гаража построили.

И я почувствовал облегчение: гаража нет, значит, и того, что случилось со мной, больше не существует.

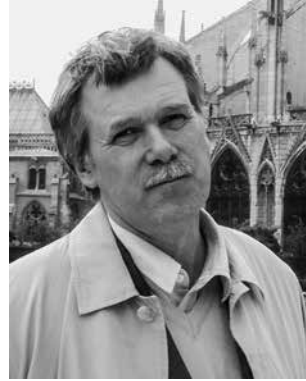
Я рассчитывал уложиться в три дня: похороны моей старшей сестры и поминки не должны были занять больше времени. Пришлось задержаться: все мои многочисленные двоюродные и троюродные братья и сёстры стали всерьёз обижаться, каждому хотелось увидеться со мной, посидеть, выпить в семейном кругу и всё такое. И я побывал в гостях, у кого успел.

Перед отъездом отправился на рынок, чтобы купить детям сушёных бычков, дети у меня уже не маленькие, но этот деликатес любят. К рыбным рядам я двигался, минуя овощные, на прилавках – горы помидоров, огурцов, зелени, редиски. Как вдруг услышал женский голос, зовущий жалобно и печально:

– Витя! Витя!

Виктор – это моё имя, я понимал, что эта женщина зовёт не меня, но невольно остановился.

Молодая девушка торговала редиской, связанной в пучки; они были разложены рядами на бетонном прилавке, девушка брызгала на них из пульверизатора, чтобы товар выглядел свежее. Рядом, на табуретке сидела неопрятная, толстая женщина с растрёпанными седыми волосами, в нелепом сером платье с широким воротом, похожем на ночную сорочку.



Юрий Александрович Поклад – родился в 1954 г. в Свердловской области в семье военнослужащего. С 1961 г. жил в г. Куйбышеве (Самаре), где окончил в 1977 г. нефтяной факультет политехнического института. Работал в геолого-разведочных экспедициях глубокого бурения в Крыму и на Крайнем Севере (Ненецкий АО), на нефтяных промыслах Западной Сибири. Строил морские буровые платформы на верфи «Самсунг» в Южной Корее. В 1994–1999 гг. сотрудничал в Объединённой редакции МВД России (обозреватель газеты «Щит и Меч»). Публиковал рассказы и повести в журналах. Рассказы звучали на радио «Русский мир» («Театр у микрофона»). Повести выходили в сборниках издательства АСТ, а также издательства Объединённой редакции МВД РФ.

Живёт в Мытищах.



– Витя! Витя! – женщина повторяла это имя с затаённой грустью, и мне казалось, что это адресуется мне.

Девушка сказала:

– Пожалуйста, не обращайтесь внимания, это моя мать, она давно уже не в себе, всех мужчин называет Витями. Я беру её с собой на рынок, потому что дома нельзя одну оставить.

– Витя! Витя! – не унималась женщина, глядя на меня пустыми, как у всех сумасшедших, глазами.

Я почувствовал сильное волнение, показалось, что я хорошо знаю эту женщину, вспомнилось всё, что с ней связано. Я был виноват перед ней. Бывают события, из-за которых хочется умереть, потому что другого выхода нет. Хотя, и это не выход.

Отслужив в армии, я вернулся домой, женился, родилась дочка, работать стал водителем в автопредприятии. Владимир Петрович, директор, доверил мне новый МАЗ с бочкой для питьевой воды. Жизнь, вроде бы наладилась, но она меня не вполне устраивала: крутить баранку до седых волос не хотелось, это был путь в тупик, а жить, чтобы оказаться в тупике, неправильно. И я стал студентом-заочником. Городок наш невелик, из высших учебных заведений только филиал педагогического института, так что выбора не было. Жене моё решение не понравилось: зачем это нужно, ты что, в школе работать собрался, какой из тебя учитель? Это она зря. Жена должна понимать мужа. Я не хотел быть похожим на тех, кто работает вместе со мной в гараже, я должен был отличаться от них.

Объяснить это супруге не удалось, она не слушала, была уверена, что я «выпендриваюсь», хочу выглядеть умнее, чем есть на самом деле.

В гараже коллектив подобрался неплохой, но из-за особенностей характера, я ни с кем не дружил, только с Сергеем Савенко. Его жена, Наташа, работала в диспетчерской, выписывала водителям путёвки. Она мне очень нравилась. Нехорошо дружить с человеком и при этом глядеть на его жену грешными глазами, но я ничего не мог с собой поделать. У Наташи было не только красивое лицо, но и особенные, притягательные формы. Одевалась она умело: то, чему следовало быть на виду, было на виду, и сразу же привлекало внимание. Когда Наташа выписывала путёвку, она наклонялась над бланком, и я глядя на неё сверху вниз из-за перильного ограждения, видел под глубоким вырезом платья полные, налитые груди едва ли не целиком. Могла б, конечно, эта Наташа надевать на работу платья скромнее, чтоб не пялились чужие мужики, куда им пялиться не следует. Но она знала, что делает.

Сергей грубо напоминал ей об этом, он вообще с ней не церемонился, кричал на неё при чужих людях, она отвечала соответственно. Не ладилось у них в семье, это было заметно.

Вот так и шло время: с Сергеем мы пили после работы пиво, да и не только пиво, а утром, в диспетчерской, у меня перехватывало дыхание, когда Наташа выписывала путёвку. От законной жены, могу признаться честно, у меня дыхание никогда не перехватывало.

Однажды я не выдержал и подал Наташе вместе с путёвкой вдвое сложенный листок: давай встретимся вечером и всё такое. Она внимательно прочитала, подняла на меня круглые, красивые глаза и покрутила пальцем у виска: ты сдурел, что ли? Что я мог ответить: да, сдурел, и ты это отлично видишь. Но, я думаю, ей была приятна эта записка, какой женщине

не нравится внимание? Разве не для этого надевают платье с глубоким декольте?

Моё предложение было категорически отвергнуто, и время шло дальше: мало ли, кто в кого влюблён, не складывается любовь, значит, нужно её забыть. Я это понял и старался больше не смотреть на Наташу грешными глазами, когда получал или сдавал путёвку. История моей любви могла бы так и завершиться, если б не возник неожиданный поворот сюжета.

Филиал института, в котором я учился, был в нашем городе, а сам институт – в областном центре, некоторые экзамены приходилось сдавать там: не все преподаватели изъявляли желание ехать в «глубинку».

И вот я, сдав экзамен, иду по центральной улице города к железнодорожному вокзалу, чтобы вернуться домой. Как вдруг меня окликают: Наташа. У неё, оказывается, родители здесь живут, и она к ним приехала, навестить. Я обомлел: не ожидал её увидеть, вихрь мыслей и планов закружился в голове.

Мы обрадовались друг другу, сели за столик в летнем кафе. День был жаркий, мы заказали мороженого, завязался разговор – шуточный, дружеский, – всё выглядело так, словно мы заранее договорились встретиться. Когда вышли из кафе, показалось странным, вдруг взять и разойтись по своим делам: мне – на железнодорожный вокзал, Наташе – к родителям. И мы пошли на набережную, потом – в кинотеатр, где шёл наивный индийский фильм про любовь, над которой следовало смеяться, но нам почему-то над ней смеяться не хотелось. Там, в темноте, мы неожиданно поцеловались, и стало ясно, что мы сходим с ума. Потом – вновь гуляли по улицам, расставаться не приходило в голову. Время летело незаметно, стемнело, я забыл, что мне надо ехать домой и не хотел об этом вспоминать. Мы ещё несколько раз целовались – на скамейке в парке, потом – прямо на улице, не стесняясь людей.

Было совсем темно, когда мы вновь оказались в центре города. Я увидел вход в гостиницу, и рискованный план сложился мгновенно. Я попросил Наташу подождать и вошёл в гостиницу. Старуха с седыми буклями вопросительно взглянула на меня, не вставая с кресла: мест нет. Но в этот вечер было возможно всё: я сунул старухе деньги, намного больше стоимости номера, и на всякий случай, показал паспорт. Она сразу же всё поняла, но посмотрела вопросительно, и я дал ей ещё купюру. Старуха покачала головой, поражаясь моей щедрости: «Ну, пожалуйста, вы ведь ненадолго?», и протянула ключ от номера.

Мы с Наташей разделлись сразу же, как только закрылась дверь, то, какая была Наташа без платья, было поразительно, мне и в платье-то на неё невозможно было спокойно глядеть. Мы очнулись часа через два от деликатного стука в дверь. Пора уходить, счастье закончилось. Наташа молча оделась и вышла, не дожидаясь меня, я догнал её на улице. Долго шли молча, я не знал, как прервать молчание. Наконец, сказал:

– Следующий экзамен у меня через неделю.

– Ну, и что? – ответила Наташа. – Больше ничего не будет.

Мне было непонятно, почему может больше ничего не быть, я спросил:

– Почему?

– Хорошего понемножку.

– Почему?

– Что ты заладил, как попугай: почему, да почему. Потому. Я – замужняя женщина, сыну шесть лет, мы с Сергеем планируем дочку родить.

– А как же я?

– Да никак. Побаловались и будет.

Она почувствовала, что так нельзя, это слишком жестоко, остановилась, обняла меня и поцеловала:

– Не обижайся, Витя. Езжай домой, к жене. У тебя есть жена, вот и езжай к ней.

– Нет у меня жены, – сказал я.

Наташа повернулась и ушла, а я побрёл на железнодорожный вокзал.

В наших взаимоотношениях с тех пор ничего не изменилось, будто и не было жаркого летнего дня, когда мы сошли с ума. Через два года Наташа родила дочку, и мои надежды растаяли окончательно. А потом случилось то, о чём вспоминать мучительно, словно меня привели на казнь, но казнить раздумали, сказали: живи, если сможешь, и отпустили.

Сергей Савченко работал на трубовозе, однажды вечером, возвращаясь из рейса, он пробил колесо, приехал в гараж, измочалив покрышку в хлам. Утром решил колесо заменить и попросил меня помочь прикатить его. Колесо находилось в углу гаража, в самом грязном и труднодоступном месте. Мы с Сергеем, по грязи и лужам, кое-как прикатали колесо к зданию электроцеха, возле которого начинался асфальт, и прислонили к кирпичной стене. Сергей пошёл искать трос, а я – подгонять свой МАЗ, чтобы притащить колесо к трубовозу Сергея.

Сергей зацепил тросом колесо, я сел в кабину МАЗа и стал медленно сдавать назад, к стене. Я видел в зеркало заднего вида, как Сергей машет мне рукой, показывая, что нужно подъехать ещё. До форкопа МАЗа, к которому нужно было прицепить петлю троса, было совсем близко. Сергей стоял возле стены, когда я остановил машину, выглянул из кабины, и крикнул, чтобы он был осторожным. Но Сергей торопился, он что-то раздражённо ответил, кажется, матом, недовольный моей медлительностью. Я не успел очистить ботинки от грязи, подошвы были скользкими. Я слышал, как Сергей кричит мне: «Давай-давай, смелей, не бойся!» Я сдавал назад рывками, слегка отпуская педаль сцепления. Мне вдруг подумалось о том, что Сергей за последнее время стал очень нервным, что ж, будешь нервным, когда у тебя такая красивая жена. Он несколько раз дрался на пляже, когда посторонние мужики, глядя на Наташу, щёлкали языками и многозначительно качали головами, женился бы вместо Наташи на какой-нибудь чувырле, и жил себе спокойно.

Я вновь взглянул в зеркало: Сергей прицепил трос к форкопу и стоял в стороне. Теперь мне нужно было выключить заднюю передачу, и включить первую, но когда я стал это делать, скользкая подошва соскочила с педали сцепления, машина рванулась назад, ударилась в кирпичную стену, и заглохла. Я услышал крик, но не придавал ему значения, решив, что это реакция Сергея на мой неумелый манёвр, наверняка, я помял бочку, и теперь получу серьёзный нагоняй от Владимира Петровича, поскольку машина новая.

Я не знаю, зачем Сергей оказался между машиной и стеной в тот момент, когда моя подошва соскользнула с педали сцепления, может быть, в последний момент решил поправить трос. Как бы то ни было, я придавил его к стене, расплющил. Сергей лежал на земле, сдавленно хрипя. Он

умирал. Я замер в оцепенении, ещё не сознавая себя убийцей: слишком неожиданно и быстро всё произошло. Появились люди, стали что-то кричать, кто-то побежал вызывать «Скорую Помощь». Я не понимал, что мне делать в этой ситуации: каяться, пытаться объяснить свою невиновность? Прибежала Наташа, забилась в истерику. У меня от волнения заложило уши, и я перестал слышать.

Приехала «Скорая Помощь», Сергея увезли, в больнице он умер.

Вспоминая период своей жизни, после того, как погиб Сергей, я удивлялся, что многое не могу восстановить в памяти, отчётливо помнилось лишь непрерывное отчаянье в душе. Вполне возможно, что со стороны я выглядел тогда нормальным – разговаривал, ездил в рейсы, получал путёвки от Наташи, вечером сдавал их ей.

Было следствие, молодой парень, старший лейтенант, изучив суть дела, проникся трагичностью ситуации. Он не видел моей вины в смерти Сергея, считал, что причиной происшедшего была «личная неосторожность потерпевшего». Нашлись свидетели происшедшего. Это должно было меня радовать, но меня это не радовало, легче не становилось, я не мог убедить себя в невиновности. Я был близок к сумасшествию, меня следовало изолировать, но среди людей скрыто так много сумасшедших, что я на их фоне не выделялся. Во мне таилось два человека: один – обычный водитель, который попал, не по своей вине, в сложную жизненную ситуацию и ждёт её благополучного разрешения; и другой, которому наплевать на благополучное разрешение судебного разбирательства. У этого человека перед глазами постоянно находился раздавленный им человек, который вдруг поднимался с земли, брезгливо отряхивал с куртки и брюк пыль, и спрашивал: «Ты это нарочно, да? Ну, признайся, нарочно? Я же знаю, что у тебя с Наташкой в городе было, она мне всё рассказала. Так ты вон что задумал, чтобы на ней жениться».

Я просыпался среди ночи, вскидывался, будто поражённый электрическим током, принимался разговаривать сам с собой, оправдываться.

Жена не знала, что со мной делать, я был безумен. Жаловаться она боялась. Жить со мной было не только страшно, но и опасно. Однажды я рассказал ей о том, что произошло в городе, признался, что давно люблю Наташу и теперь обязательно на ней женюсь.

Жена поняла, что я говорю правду, что это не бред сумасшедшего. Мы и раньше жили не слишком дружно, теперь совместная жизнь стала вовсе бессмысленной. Она уехала вместе с дочерью к родителям. Это было для меня облегчением, но главное испытание было впереди.

Я дождался, пока меня оправдали в суде, признав причиной гибели Сергея Савченко его личную неосторожность, и пошёл к Наташе. Отчего-то я был уверен, что она согласна с мнением суда, и ко мне претензий не имеет. Странно, что я мог так думать, но у сумасшедших своя логика. И ещё я думал: куда ей теперь деваться с двумя детьми, кому она нужна, а я люблю её, я буду о ней заботиться, и она это знает. Я предложу ей уехать куда-нибудь, скажем, на Север, начнём с нуля, с чистого листа, это будет совсем другая жизнь. Неужели она не согласится?

Я пришёл к ней и стал всё это объяснять, но быстро понял, что объяснения глупы и неуместны. Так не говорят женщине, которую хотят видеть своей женой, так объясняют выгоду партнёру, с которым хотят организовать совместную деятельность. Наташа сказала:

– Ты убил моего мужа, а теперь пришёл свататься? Ты понимаешь, как это выглядит?

– Это получилось случайно, я не виноват, было следствие, суд постановил, что это личная неосторожность Сергея.

– Мне наплевать на то, что постановил суд, я сама всё знаю. Ты решил на мне жениться, поэтому убил моего мужа. Что здесь непонятного?

Ей было всё понятно, я мог доказывать обратное сколько угодно. Но мне важно было знать одну деталь:

– Скажи, ты любила меня в тот день, когда мы были в гостинице?

– Не задавай глупых вопросов, ты всё отлично знаешь. Я скажу больше: если б ты не имел отношения к гибели Сергея, я бы с радостью вышла за тебя замуж. Но ты его убил, и теперь это невозможно. Странно, что ты этого не понимаешь.

Я этого не понимал. И ещё не понимал, отчего мне досталась на редкость несчастная жизнь, в которой я не имею возможности жениться на женщине, которую люблю.

Я уехал на Крайний Север в посёлок, затерянный в тундре, стал работать водителем в геологоразведочной экспедиции, постепенно освоился, привык и даже женился. Не то, чтобы я совсем забыл прошлую жизнь, но виделась она мне как бы со стороны, словно старая кинокартина. На Севере собрались люди с причудливыми судьбами, я наслушался их историй, и происшедшее со мной уже не казалось из ряда вон выходящим, некоторым людям не везло гораздо больше моего, они с этим смирились, перетерпели, и жили теперь дальше – куда деваться, если ты жив?

У меня родилось двое детей, летом мы с женой ездили с ними на море, на курорт, так получилось, что в свой родной город долгое время попасть не удавалось, и я не жалел об этом. Но в этом городе жила моя старшая сестра и другие родственники, которые писали мне письма и хотели повидаться. Я оказался в нём через двадцать лет, приехав на похороны сестры.

– **Витя!** Витя! – звала женщина.

Я пригляделся внимательней: нет, это не Наташа, совсем не похожа, ничего общего, я ошибся.

– Как зовут вашу маму? – на всякий случай спросил я девушку.

– Зачем вам? – удивилась она, но как зовут маму сказала, подтвердив мои сомнения.

Тем не менее, с рынка я ушел удручённым, забыв купить сушёных бычков.





ПОЭЗИЯ

Василий ЛОВЧИКОВ



Василий Дмитриевич Ловчиков – родился в 1935 г. в городе Воронеже. В 1957 г. окончил Высшее военно-морское инженерное радиотехническое училище в Гатчине. С 1957 по 1964 гг. служил в Военно-морской и Дальней авиации (ДА) на разных должностях. В 1967 г. окончил Военно-дипломатическую академию (ВДА). Работал в Москве, за рубежом и в ВДА. Кандидат военных наук, доцент, академик Международной академии духовного единства народов Мира. В настоящее время – профессор Военного университета МО РФ. С 2000 г. член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Автор 24 сборников стихов и поэм. За литературную деятельность награждён шестью медалями, в том числе: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского.

Живёт в Москве.



Чтобы слышно для всех прозвучать...

Звёздный час

Над рекой возвышается лес,
У воды притаился камыш;
Лишь дыханьем повеет с небес –
Их звучаньем наполнится тишь.
И в звенящем напеве осин,
В звонком хоре берёз, тополей,
В плеске волн, подголоске вершин
Не расслышать припев камышей!
Но утихнет под снегом река,
И умолкнут литавры ветвей –
Вот тогда на призыв ветерка
Отзовется лишь хор камышей!
Будет лес головою качать,
Не волнуя, не радуя тишь;
А вокруг будет гордо звучать
Не расслышанный в прошлом камыш.
В жизни каждого звёздный свой час,
Уловить его важно суметь;
Чтобы слышно для всех прозвучать,
Вовсе громко не надо шуметь!

Плакучая ива

Ива сиротливо в пойме загрустила,
Шёлковые косы в воду опустила;
Ветерок весёлый ивушку ласкает,
В волнах серебристых косы полоскает.
Плещет, украшает радугой-дугою...
Но грустит, качает ива головою.
Всё трясет косами, безутешно плачет;
По ветвям синичка, как сердечко, скачет.
В чём кручина, ива? Может, услышала
Разговор точила с остриём металла?
Может, душу гложет боль разлуки с дубом,
Что погиб в неравной схватке с лесорубом?
Не кручинься горько! Не трясись косами!
Улыбнётся зорька добрыми глазами,
Оживёт орешник – там, за перекастом,
Соловей-волшебник встречи ждёт с закатом!
И подарит вечер, окунувшись в звуки,
Радость новой встречи, а не боль разлуки!
В блеске звёзд предстанет небосвод счастливый,
Чтоб побыть с тобою, одинокой ивой!

Прощай, зима

Март на дворе, февраль уж отпуржил,
И по утрам сон гонишь веселее –
Свой ранний путь к подушкам проложил
Дневной рассвет, зарёю пламенея.
Река во льду, снег наледью блестит,
Ещё мороз господствует ночами;
А днём капель весёлая звенит
И вдаль бежит заборными ручьями.
Деревья спят, но их застывший строй
Навстречу солнцу тянется ветвями,
Чтоб, отогревшись вешней теплотой,
Проснуться и взглянуть зелёными глазами.
Несётся крик вернувшихся грачей,
И песнею друзей синица в гости кличет;
И, словно внемля ей, цепочка журавлей
На Родину спешит и радостно курлычет.
Прощай, прощай, Зима!
Прощай, суровый хлад!
Природа ждёт Весну – хозяйку пробужденья,
Чьей волею снега в потоках отшумят,
И вспыхнет яркой радугой цветенье.

Прощальный взгляд

Свет рассвета бледно-синий
Смотрит под ноги берёз,
Где на кочки белый иней
Первый выбросил мороз.
Не напрасно вечер в красном
Ночь морозную встречал,
И печально не напрасно
Перелётный гусь кричал.
Улетая с клином стаи
В край, где зябко рдел закат,
Что-то крикнул он, рыдая,
Уронив прощальный взгляд.
И в ответ: «Прощай!» – шептали
Грустным хором камыши,
Молча ветками кивали
Вслед осинки-голыши.



ПРОЗА

Валерий РУМЯНЦЕВ

Голос прошедших лет

1.

Шёл тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год. Этот год запомнился празднованием 50-летия Октябрьской революции, открытием в Волгограде монумента «Родина-мать». В этом же году в Ленинграде изготовили первую партию цветных телевизоров «Радуга», вышло Постановление Правительства о переходе с шестидневной на пятидневную рабочую неделю, впервые в нашей стране был опубликован роман Булгакова «Мастер и Маргарита».

Об этих и других значимых событиях старшеклассник Борис Воронцов хорошо знал, так как был склонен к познанию мира. И этот мир задавал ему всё больше и больше вопросов, на которые нужно было находить ответы. Именно в это время Борис столкнулся и с тем, что называется любовью.

Воронцов влюбился в свою одноклассницу Галю Кузьмину. Сейчас они уже заканчивали девятый класс, быстро выросли, а Кузьмина не испытывала к Борису сердечных чувств. Хотя по общему признанию, он был симпатичный парень, высокого роста, учился почти на «отлично», и второй год подряд его избирали комсоргом класса.

Тяга к знаниям усилилась у Бориса два года назад. На летних каникулах он перечитал все учебники пятого-седьмого классов по ботанике, географии, биологии и истории, так как убедился, что почти ничего не помнит из их содержания. Кроме того, он завёл тетрадь, в которую записывал незнакомые слова, значения которых не знал. И после этого рылся в словарях. А чтение художественной литературы стало одним из его любимых занятий.

Воронцов периодически проявлял знаки внимания к Галине, но ответной реакции не получало. Нельзя сказать, что это задевало самолюбие Воронцова – такого чувства он не испытывал. Просто его сердце жаждало взаимности, а



Валерий Румянцев – родился в 1951 г. в Оренбургской области в семье судьи. Среднюю школу окончил с золотой медалью. Учился в Куйбышевском авиационном институте, на юридическом факультете Северо-Осетинского госуниверситета. Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем. После окончания Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности. Лирические и юмористические стихи, басни, эпиграммы, литературные пародии, лаконизмы; реалистические, сатирические и фантастические рассказы Валерия Румянцева печатались во многих изданиях РФ и за рубежом. Автор более десяти книг.

Живёт в Сочи.



Кузьмина отталкивала его. Девушки – уникальные создания: они способны притягивать парней, отталкивая.

Как и многие школьники, попавшие в плен первого любовного, ещё только платонического, чувства, он начал писать стихи. И когда их накопилось несколько десятков, прочитал их старшему брату Алексею – студенту филологического факультета университета. И очень огорчился, когда тот сказал:

– Очень слабые вирши. Всё в корзину, а вот это оставь. – И, взяв в руки тетрадь, сам прочитал вслух одно стихотворение:

*Четыре строчки за день стихов.
Четыре ночи бессонных снов.
Четыре капли, выпавших из глаз.
Четыре сабли прокололи враз.
Четыре чувства захватили власть.
Четыре буйства не хотят пропасть.
Четыре, четыре, четыре, четыре –
Шестнадцать бросков к окну твоему.
И, как удар по голове гирей,
Четыре пощёчины. Мне. Одному.*

Затем Алексей ещё раз прочитал это стихотворение уже про себя и спросил:

– Ты влюбился, дружок?

– Да, – признался Николай. – Но она...

– Не отвечает взаимностью. Это, брат, в жизни часто бывает. Любовь – это своего рода налог, который мы вынуждены платить за то, что у нас есть сердце...

Эти слова брата Воронцов запомнил на всю жизнь.

Все мы закованы в кандалы обстоятельств. Вскоре Борису предстояло расставание со своей школьной любовью. И это его мучило больше всего.

Семья Воронцова переезжала из посёлка городского типа Куйбышевской области в город Сочи. Дом на курорте был куплен недавно, мать и отец Бориса находились уже в Сочи.

В начале июня Воронцов получил в школе табель об окончании девятого класса и на следующий день сел в электричку. Ему предстояло доехать до Куйбышева и оттуда самолётом вылететь в Сочи.

Зайдя в вагон, Борис положил на верхнюю полку чемодан и стал внимательно смотреть в окно. Он мысленно прощался с местами, ставшими для него родными. Здесь прошло его детство, началась юность. Он смотрел на знакомые улицы, испытывая противоречивые чувства. Жалко покидать друзей детства, школьных товарищей и особенно дорогую его сердцу Галину Кузьмину. Неужели он никогда её больше не увидит? От этой мысли ему сделалось не по себе, и он стал ещё внимательнее всматриваться в окно.

На краю посёлка стоял небольшой частный домик, в котором жила Кузьмина. И Борис хотел ещё раз посмотреть на этот домик. Электричка набирала скорость, дома мелькали... И что это?! Воронцов неожиданно увидел Галину перед соседским домом, где был колодец. Из колодца она набирала воду. В душе Бориса что-то мгновенно оборвалось. Когда чувства взрывают сердце, взрывная волна доходит до разума. Борис вскочил, почувствовав,

как будто кто-то толкает его к выходу из электрички. У него появилось только одно желание: выпрыгнуть из вагона, чтобы навсегда остаться там, рядом с ней...

Электричка вырвалась из объятий посёлка и уже неслась как угорелая по степи. Воронцов пришёл в себя – и сел на место. Так паршиво он себя давно не чувствовал...

И только в самолёте Воронцов окончательно успокоился. «Не всё так плохо, – подумал он. – В Сочи я увижу много для себя нового, наверняка встречу немало интересных людей...»

2.

В городе-курорте всё было по-другому: люди, архитектура, рынки, пляжи... Больше всего Бориса поразила природа. Море и горы, кипарисы и пальмы, горные речки, цветы магнолии – на это можно было смотреть часами.

Однако более существенным было другое. В этом мире Воронцова многое не устраивало. Он где-то прочитал: чтобы изменить этот мир к лучшему, нужно изменить людей. А чтобы изменить людей, думал он, нужно изучать их: и мужчин, и женщин. И в Сочи он стремился к общению с новыми людьми. Ему нравилось посещать рынки, вокзалы и другие места скопления местных и приезжих; наблюдать за ними: о чём они говорят, что делают в той или иной ситуации.

Каждый день Борис не только читал новые книги, но и посещал пляж. У него появились новые приятели. Он заметил, что психологически ему было трудно завязать знакомства с женщинами, которые старше него. Этот недостаток он решил исправить и начал знакомиться с этой категорией прекрасного пола, выбирая тех из них, кто ему понравился. Но чаще всего это ему не удавалось, и он предпринимал всё новые и новые попытки.

В конце июня в жаркий полдень, покинув пляж, он возвращался домой.

Обгоняя на крутой бетонной лестнице двух молодых женщин, Воронцов услышал:

– Как тяжело подниматься, – пожаловалась брюнетка.

– Ничего, потихоньку дойдём, – успокаивала её блондинка.

– Кто бы подал руку? – сказала брюнетка, увидев Бориса, обгоняющего их.

Поведение женщины подсказывает лучший способ знакомства с ней, и Воронцов воскликнул:

– Я! – и подал руку незнакомке.

Брюнетка протянула свою миниатюрную ручку и, улыбаясь, изрекла:

– Спасибо. Меня зовут Светлана. А вас?

– А меня Борис, – ответил Воронцов и ощутил в своих пальцах нежную кожу незнакомки.

На следующий день они, как и договорились, встретились вдвоём на диком малолюдном пляже. Морская вода здесь была чище, чем на пляже городском.

В ходе разговора Светлана сообщила, что приехала отдыхать из Красноярска и работает переводчиком в Интуристе.

Потом они бултыхались в воде, как дети, смеялись, обдавали друг друга тёплой морской водой и, стоя на месте, опускались в воду с головой и затем пружинкой выпрыгивали из неё.

Когда Борис в очередной раз вынырнул из воды, то увидел: бюстгальтер у Светланы сполз вниз. Первый раз в жизни он смотрел на обнажённую

женскую грудь. Испытав обжигающее чувство любопытства и испуга одновременно, он нырнул и уже, проплывая под водой, подумал: «Наверно, она, прыгая в воде, не почувствовала, что лифчик сполз вниз». Ещё проплыв несколько секунд, чтобы женщина успела привести себя в порядок, он вынырнул и увидел, что «чепчик для близнецов» был на месте. Они продолжили смеяться, ладонями обрызгивать друг друга и погружаться в воду. И вскоре Борис, высунув в очередной раз голову из воды, второй раз увидел обнажённую грудь. Он сразу же нырнул. «Это уже не случайность», – решил он и отплыл подалее.

Любовь рождается там, где рождается восхищение. Однако восхищения эта женщина у Воронцова не вызывала.

Это было их единственное свидание, которое закончилось взаимной неудовлетворённостью.

За летние каникулы ещё две зрелые женщины пытались соблазнить его, но он уклонился. И правильно сделал: в бесстыдстве гибнет душа и рано стареет тело.

Первого сентября Воронцов появился в новой для себя школе. Когда он зашёл в кабинет десятого класса, к нему приблизилась уверенная в себе красивая девушка и сказала:

– Я Жанна Лепешинская, староста класса. Сидеть будешь здесь, – и показала пальцем на парту.

– Хорошо, – машинально промолвил Борис.

Он смотрел в голубые глаза Жанны и больше ничего не видел. Ничего! В этот миг она действительно была невероятной красоты, излучавшей совершенство женских форм.

Это была любовь с первого взгляда. Такого в жизни Воронцова никогда не было, даже с Галей Кузьминой.

Лепешинская, по мнению большинства учителей и учеников, считалась первой школьной красавицей. К тому же она всегда была красиво и модно одета, в ушах золотые серёжки, на пальце – дорогой перстень.

Школа, в которую пришёл Воронцов, во многом отличалась от той, в которой он учился раньше. Многие старшеклассницы имели дорогую одежду, носили импортную обувь, на их пальцах и ушах поблёскивали золотые украшения. Почти у всех учеников были зонты от дождя, чего не было в предыдущей школе.

Субботними вечерами многие одноклассники Бориса собирались и, выпив вина, шли на танцы. В предыдущей школе ничего подобного Воронцов не наблюдал. А когда он пришёл на первый школьный вечер, увидел, что только у него одного хлопчатобумажная белая рубашка. У всех остальных ребят белые рубашки были нейлоновые. Нейлон тогда только начинал входить в моду.

С первых же дней Воронцов начал получать сплошные «пятёрки» по всем предметам. Ещё год назад, кроме тетради для незнакомых слов, Борис выделил и тетрадку, в которую заносил наиболее понравившиеся ему крылатые слова. Была там и такая запись: «Капли знания точат глыбу невежества». Хозяин тетради не забывал эту мысль.

В коллективе всегда есть место для лидера. И это место, как сразу понял Борис, занимала Жанна.

Первое впечатление – это всего лишь оболочка восприятия. Чувство – материя хрупкая, оно может затвердеть только с помощью разума.

В последующие дни Борис стал замечать в поведении Лепешинской то, что ему очень сильно не понравилось. Она бесцеремонно отдавала распоряжения всем без исключения одноклассникам – и те спешили выполнить её команды по подготовке к уроку, уборке класса или проведению каких-либо мероприятий. Временами ветер высокомерия сдувал у Жанны остатки ума.

Она так часто выходила из себя, что протоптала тропу. Её голос был слышен каждый день, и в нём нередко звучали оскорбительные выпады в адрес школьников. Одноклассники видели несправедливость Лепешинской, но активно не протестовали. Чувство справедливости есть у всех, но многие с ним успешно борются.

И у Воронцова началось меняться отношение к Жанне. А ещё через неделю он удивился: как он мог вообще влюбиться в эту куклу? У Бориса уже появились первые ростки неприязни к ней.

Прошла ещё одна неделя. В воскресный сентябрьский день на диком пляже собралась примерно половина класса отметить день рождения Жанны Лепешинской.

Присутствовала там и Валя Смирнова. Она была из бедной семьи и несколько лет мечтала приобрести надувной матрас. Прошедшим летом она подрабатывала в столовой и купила наконец-то эту вещь. Борис надул этот новый матрас и передал хозяйке. Но Вале не удалось им воспользоваться.

Временами волна самолюбия накрывала Лепешинскую с головой. Так случилось и сегодня: весь день она сидела или лежала на этом матрасе. А Вале пришлось сиротливо уютиться на камнях.

В конце мероприятия Воронцов не выдержал и взорвался. Он подошёл к Лепешинской и в присутствии одноклассников решительно заявил:

– Так с товарищами не поступают. Принесла бы свой матрас и валялась на нём...

– Не лезь не в свои дела, – огрызнулась Жанна. – Только пришёл в наш класс – и уже пытаешься командовать. – И с нескрываемой злостью добавила. – Никогда не забывай: для нас ты всегда будешь чужаком.

– А ты останешься в памяти одноклассников как глупое и наглое существо, достойное презрения и забвения, – отрубил Воронцов и отошёл в сторону.

Таких слов никто из учеников никогда Лепешинской не говорил. И чтобы как-то отомстить, на следующий день Жанна во всеуслышание заявила:

– Воронцов влюбился в Смирнову – вот и заступает за неё...

Это ещё больше разозлило Бориса: Валя Смирнова была невзрачной девочкой маленького роста.

Конфликт между Воронцовым и Лепешинской шёл по нарастающей – и стена неприязни росла между ними каждый день.

Так и не помирившись, они и дожили до выпускного вечера.

3.

Прошло пятьдесят три года. За это время Борис Петрович Воронцов успел окончить военное училище, академию, прослужить в армии почти сорок лет и затем поработать на гражданке. Во время отпусков со своей семьёй периодически приезжал к родителям в Сочи. Три раза случайно встречал Жанну Лепешинскую. Первый раз она отвернулась от него и сделала вид, что не заметила одноклассника. Ещё два раза они без энтузиазма

поздоровались – и на этом неполноценное общение завершалось. Судя по выражению лица Жанны, эти встречи не вызывали у неё положительных эмоций. Юность не уходит, она остаётся в душе и периодически напоминает о себе.

Воронцов служил под диктовку времени, хотя текст далеко не всегда был ему по душе. В отставку вышел в звании полковника. На постоянное жительство в Сочи вернулся пять лет назад, когда отец и мать покинули этот мир. Квартиру в Волгограде оставил уже взрослому сыну. Сейчас проживает с супругой в родительском доме.

Супруга для Бориса Петровича была не просто женой, а главным счастьем в его жизни. Трудно приобрести счастье, ещё труднее сохранить его. Но Воронцову посчастливилось достичь и первого, и второго. Супружество – это двое в одной упряжке, но хомут нередко у одного. К счастью, в его семье такого не наблюдалось. Общение с другими людьми требует одарённости, для общения супругов нужен талант, ибо бытовые и иные проблемы не покидают семейные пары и душат своим постоянством. Более красивой (каждый молится на свою икону красоты) и порядочной женщины он в своей жизни не встречал.

Жена Воронцова понимала, что семейный очаг – это не помещение, а тепло, которое царит в нём. Поэтому Борис Петрович и продолжал любить её.

Трудно забыть то, что легко вспомнить. Вспоминая женщин, с которыми у него были близкие или не очень отношения, Воронцов пришёл к выводу, что в любви всегда есть что-то необыкновенное, но истинное чудо – это супружеская любовь.

Не зря говорят, что, когда виски покрываются серебром, в голову приходят золотые мысли.

И вот как-то неожиданно к Воронцову в январе этого года подкралось семидесятилетие, которое он собрался скромно отметить у себя дома в кругу своей супруги и двух приятелей с их жёнами. Ещё обещали прилететь из Волгограда сын и дочь, а также старый армейский товарищ.

Получив от супруги список продуктов, Воронцов сел в свою Ладу-гранту и поехал в «Магнит» за покупками. Там он заполнил коляску многочисленными бутылками, мясными, молочными и прочими запасами. Подкатив коляску к кассе, он начал выкладывать на прилавок купленное. Перед ним расплачивалась пожилая женщина, одетая в изрядно поношенную куртку; на голове у неё был какой-то уж совсем неприлично старый платок. Борис мельком увидел только профиль этой женщины.

– С вас триста семнадцать рублей, – сказала кассирша покупательнице.

– Ой, а у меня только триста рублей, – испуганно ответила, как показалось Воронцову, старушка.

– Семнадцать рублей возьмёте с меня, – машинально предложил Воронцов кассирше, продолжая выкладывать на прилавок набранные продукты.

– Спасибо, Боречка, – услышал Воронцов и, взглянув на лицо покупательницы, опешил. Это была Жанна Лепешинская.

Борис Петрович так растерялся от неожиданного оборота событий, что не смог вымолвить ни слова.

Когда сел в машину, подумал, что зря он не сказал Жанне хороших слов на склоне лет. Ведь горячие угли напоминают нам, что и в конце жизни можно дарить людям тепло.





ПОЭЗИЯ

Елена АНТИПЫЧЕВА



Елена Григорьевна Антипычева – родилась в Московской области. Стихи пишет с 7 лет. В 2006 г. с отличием окончила Московский государственный областной университет по специальности «филология». В 2004 г. стихи публиковались в сборнике «На крыльях Пегаса», выпущенном поэтической студией «Орфей» при МГУ. Позднее стихи были опубликованы в журнале «Эдита», «Зарубежные задворки», «Чайка» и в интернет-журналах «Автограф», «45-ая параллель» и «Литерра». Автор трёх сборников стихов: «Стихи на чёрный день», «Круги на воде» и «Комната смеха».

Живёт в Москве.



Парить ли птицей в синеве...

Если тучи шуршат на ветру, и, качаясь, дома
Помутневшими стёклами вновь дребезжат в поднебесье,
Не разбиться в ладонях Безвременья, рухнув с ума,
Тяжелей, чем, вцепившись в ничто, не терять равновесье.

Неизвестно, с какой стороны соловьиная трель,
И откуда доносится свист заблудившейся пули;
Бьёт кровавый родник, попадая в случайную цель.
Неслучайную цель, как свечу, чьи-то губы задули.

Холодок, пробежавшись по коже, стремится назад;
Голова, словно гирия, свисает над будущим тёмным.
Невозможно войти, не боясь, в Ботанический сад,
Где семейства растений в спокойствии нежно-укромном.

Невозможно на сумерки вылить внезапно рассвет:
Злая ночь – впереди, всё живое – в глубоком подполье.
Если тучи шуршат на ветру, и пристанища нет,
Дребезжащие стёкла – как роскошь на мёртвом раздолье.

Конечно, жизнь не так проста,
Чтоб, вырвав битый час из ста,
Без наставления Христа
Ты понял, не скорбя:

Её длина – с лесной поток,
А ширина вот, всезнаток,
Как на окне в горшке цветок,
Зависит от тебя.

Кутить ли в клубах до утра,
В кругу семьи ли в вечера,
Когда мороз, когда жара
О счастье ворожить;
Молчать ли рыбой на пиру,
Гулять ли кошкой по двору,
Лисой ли выкопать нору
И в ней, как люди, жить;

Менять ли часто адреса,
Перемещать ли полюса
И раздувать ли паруса
Туманов над горой;
Снега ли ворошить лучом,
Лучи ли рассекать мечом
И прогонять ли тьму бичом,
Как сказочный герой;

Парить ли птицей в синеве,
Ужом ли ползать по траве,
Сидеть ли мошкой на листе –
Решаешь ты один.
Куда подальше от беды
Без суеты и маеты
Усвой же эту правду ты,
Дожив не до седин.

Чем дальше, тем заметно холодней
Одушевлённые фигуры дней.
Обрывками тепла прикрывши спины,
Лихими беспризорниками ли,
Опершись на больные костыли,
Идут они в туманные долины
Тревожить голосами тишину,
Или войсками с песнями – бездельницами
Отважно маршируют на войну
С полуживыми ветряными мельницами –
Не выяснишь. Но боли нет как нет
От расставанья с ними, и неволью
Ты жмуришься, когда ярчайший свет:

Глазам мгновенно нестерпимо больно.
Но просто заслонив лицо рукой,
Ты возвращаешь зрению покой.

Сломавший голый куст, едва
Шагнёт за веткой, – кружева
Над замершей рекой
Сплетутся в сеть, и на него
Её набросит торжество
Метели колдовской.

Срубивший дерево на плот,
Весной провалится под лёд
Очнувшейся реки.
И не услышит дикий крик
Ни малолетний, ни старик,
И Бог не даст руки.

Сорвавший с головы цветка
Хоть отраженье лепестка
В бушующей реке,
На берегу не устоит:
Волна не смоем – луч спалит,
Горящий вдалеке.

Отлетали самолёты,
Отгремели поезда,
Понедельники – субботы,
Искра истины – звезда;
Архаические трели
Из наушников слышны:
«Отлюбили, отгорели
И неистово вольны».

Мысли, словно роци голы,
Слёзы – мелкие дожди,
День вчерашний невесёлый,
Слава Богу, позади.
Нынче ты не ищешь снова
Приключений сквозь туман.
Как Обломов Гончарова
Спишь и видишь свой диван.

Тихий берег океана
С пятизвёздочным жильём
Не прельщает, как ни странно,
Ибо весь порос былём.
Там трезубцем осьминога
Всё кромсает в кровь Нептун,
Альбатрос парит полого
Над собраньем ржавых дюн.

Полумёртвые русалки,
Размозжив волной висок,
Подают лишь шёпот жалкий,
Обагрющий песок.
Ангел, пряча в поднебесье
Облик нежный, загрустил,
Что теряет равновесье
Заблудившихся светил.

Мозг, потерявший самоконтроль, во мраке
Подобный сорвавшейся с грозной цепи собаке,
В горячке бросающейся на тень
Прохожего из зазеркалья, небрежно
Брызжет бессмыслицей, словно слюной безбрежной
В неопаздавший подняться с постели день.

Райские птицы поют и поют в унисон
Хору созвездий, который, озвучив твой сон,
Выдал по нотам все тайны твои земле.
Кто-то захочет заставить замолкнуть их,
Но, одержав поражение, не для живых
Только оглушит колокол на селе.

Будь предсказуем, как пленный в стране чудес,
Где поле пройти тяжелей, чем сквозь хищный лес,
А брод всё равно что омут чинит разбой;
Где прошлое лучше будущего раз во сто,
Улыбка – лишь знак сострадания или ничто
В сравнении с собственным хохотом над собой.

Образ за образом, вспыхнув однажды, впредь
Не перестанут и в зимнюю пору греть,
Ибо не гаснут, как ясного тела свет.
Плюс ко всему и ближе, чем друг и брат,
Вынесший вместо тебя череду утрат
И разделивший везенье с тобой силуэт.

Лети, птенец!

Не будь труслив, птенец безгрешный!
Покинув тёплый мир гнезда,
Ты устремился в мир кромешный,
Обледенелый, как звезда,
Что всё равно зовёт и манит,
И увлекать не устаёт,
В недобрый час осколком ранит,
А в добрый – луч надежды шлёт.

Смотри, вокруг берёзы рослой
Густеет тягостный туман.
Вот и тебя, друг, в жизни взрослой
Обступят тайны и обман.
Но ты не верь лихому слову,
Да и хорошее – клинок.
Не клюнь на радость птицелову
На опьяняющий манок.

Дай Бог, чтоб ты не чуял жажды,
Не знал про голод ничего,
И ни одно перо однажды
Не пало с тельца твоего.
Но как бы ни было опасно
На этом свете жить, поверь,
Что жизнь жестока, но прекрасна,
И стоит страхов и потерь.



ПРОЗА

Алексей ФУНТ

Река детства

Пауты на железке – пруте буром. Над тёмно-зелёной рудой реки. Выплёвывает труба воду с пеной, захлёбывается словно. Кипень рвётся из дамбы-дороги через эту трубу. Бетонные плиты сковали канаву вблизи плотины, а далее река свободна. А труба ревёт, стремительные потоки сбивают с ног, не дойти до неё по прямой. Нужно идти вдоль стен и боком. А в углу на дне много рыбёшек. Нырнуть и хватать их. Так делал я. А брызги летят в лицо.

Где заканчиваются плиты, к телу может присосаться пиявка. Железный прут меж двух бетонных столбов с ними застыл, как ворота нараспашку. А по ту сторону река в исконном своём русле, дика и вольна.

А лето ароматное. Светом залито всё: округа, липы, речные омуты... Свет – белогривая лошадь. Пробегают сверкающие пятна по воде в канаве. Жмурю глаза, ныряю. Вода безумно гулливая у трубы, плюется, гудит. Дальше по течению река лениво-ласковая, уходит в синюю даль. Лесная воронка сидит в листве. Бочаг на боковом ручье-притоке, закоптила сосна смолой, амбра в травах.

Я ловлю рыбу по щелям в канаве, иногда и под пяткой оказывается гладкий карась. Пойманный улов бросаю на берег. А друг Костя, которого звали все ещё и Язь, подбирает рыбу в пакет. У него на шее болтается металлический кружок, отпиленный от толстого медного прута. Эту блямбу он превратил в свой амулет.

– Что это у тебя сердце зашалило, синее пятно на грудной клетке, что-то с тобой не то, – сказал ему кто-то, шутя, показывая на пятно от трения окислившегося медного амулета об кожу.

– Да иди ты, – отвечал Язь.

За день до того мы нашли выжженный молнией ствол дерева и бросили в реку. Он держался на плаву, частично погрузившись в воду сантиметров на тридцать. Из ветки вышло удалое весло. Вода хлюпала в полом бревне. Мы плыли на этом деревянном коне мимо поплавок и



Алексей Валерьевич Фунт – родился в 1991 г. в селе Шляхово Белгородской области. Учился на историческом факультете Белгородского государственного университета. Публиковался в литературном интернет-издании «МОЛОКО» и ряде других региональных СМИ.

Живёт в селе Шляхово.



крючков рыбаков. Шумливой толпой на этой своей быстролётной ладье неслись вперёд. Я держал длинную палку как гитару. Рыбаки пеняли нам на отсутствие улова из-за нашего шумного сплава вблизи их рыбного места. Рыбёшкам мы, оказалось, не даём пойти на столы этих рыбаков. Мы постарались по-быстрому уйти по тиховодной реке дальше, где не было ни души. В глухой части реки мы доплыли до омута. Длинной палкой до глубины не достали. Смотрели в эту бездонную глубину, но ничего кроме ивового листа, висевшего в глубине, нельзя было разглядеть. Это истинный чёртов омут. Рядом на берегу седая многовековая ветла и следы от старого кострища. Мы пытались исследовать это место, но погружаться в воду побаивались. Лишь, держась за бревно, стопой тянулись ко дну. Раз кто-то ощутил под пятой что-то гладкое и округлое. Либо горшок, либо шлем, наподобие того шлема антского или праславянского воина с гривнами-брусками и женскими украшениями из Колосковского клада. Подцепить этот предмет не выходило. И не сом ли в таком глубоком логове притаился? Также вспомнили и про гробницу Аттилы на речном дне. Не изменяли ли древние русло и этой реки, чтоб спрятать свои секреты. На реке поставлено тавро с боков тмудараканских коней. Мы всё ныряли. В зарослях на берегу торопилась куда-то болотная черепаха. Лето, как летучий ладан, тает, улетучивается. Свой утлый ушкой мы направили дальше вглубь дебрей реки. А себя мы ощущали новгородскими ушкойниками. Вода в тех дебрях совсем мутная, как глина или глиняное тесто с дресвой зарубинецкого гончара стародавних времён. Речка напоминает там Амазонку и анаконду и змеёй крадётся сквозь зелёную бороду поймы. Заболоченная местность слева густо покрыта тростником. Справа лозняк, краснотал. Чертоги глухие, цепкие. Не пристать к берегу. Длинные ужи переплывают речку поперёк. Край непуганых змей. Много плавника на пути. Ветхие колоды размокли. Плавали кроме них и другие серые стволы деревьев разной толщины. Всё это образовывало зато-ры. Мы их отгоняли к берегам как могли. Таким образом, верхом на бревне нами пройдено не менее двух километров. Пирогу мы бросили. Зверобой покачивался, и ату из уст древнего зверолова в нём стругало свои давние звероловьи тропы. Курился ливан лета над луговыми травами и всей дикой степью. Коней боспорских видит в жёлтом сне пижма – кручинная кружка из кельи. Житейское марево белого города, она бежит в жёлтой лощине своей. Алая лампада заката белой рукой дамы зажжена. Там за мостом из стойбища ханша в закате мерещилась.

А после этого мы решили заняться рыбной ловлей. И вот улов наш в пакете, и мы идём обратно в село. Канава с оводами остаётся позади. Дорога белёсая от мела.

– А Митя Бубушонок ловил карасей в канаве, где отстойник натуральный. Редко вода из водохранилища туда идёт. А он в муляке и среди коряг как-то глаз себе не выбьет. Ныряет и достаёт откуда-то вот таких как ладонь, – говорили мы в дороге.

На окраине села на самой дороге нам встретился Бурбон, наш односельчанин. Он спал прямо на краю грунтовки. Он частенько баловался рюмочкой.

– Вставай! Машина раздавит! Ты слышишь? – будил его Язь. В его действиях и словах было переживание за чужую судьбу и добродушие с долей шутки. Подняв Бурбона, он направил его до дома. Бурбон оглядывался

и нехотя шёл. Это прозвище прилипло к нему давно. Когда-то в Шляхово была Механизаторско-тракторная станция, которую называли просто мастерской. В рабочее время возле обитых железом ворот мастерской кто-то увидел, что Бурбон лежит на траве и спит. А рядом дубрава, которую частично вырубали во время дорожных работ. И так и прилипло к нему прозвище в честь одной из французских королевских династий, ибо лежал как король.

Пойманную рыбу мы решили продать и обсуждали, до кого её лучше отнести. Возле глубокой трещины возле колеи лежал старинный заржавленный замок. А Бурбон спустя год умер, у него оказался запущенный сахарный диабет. Баловаться стал он рюмочкой после того как его жена погибла в пожаре. А тот старинный замок всё лежал возле того места. И где-то за оврагами курились печенежки курганы.

В следующий раз мы ездили на речку на велосипедах. Пошёл дождь, и пришлось возвращаться. Обратный путь оказался испорчен ливнем. Велосипеды оказались обузой, мы их тянули, счищали беспрестанно с них грязь. Долгий путь по грязным колеям казался ещё длиннее. Измученные мы всё же одолели эти грязные километры и зареклись при тучах ездить на речку на велосипедах. Дорога земляная и рискует всегда стать вязкой. Что-то не давало нам изучить тот глубокий омут. И о нём мы забыли совсем.

Прошли годы, и снова я вернулся к берегам родной реки. Заехав в один из лесков на берегах Разумной то ли на «Оке», то ли на «Четырке», давно это было, мы пошли через кучерявые кленовые перелески. Со мной был один из моих товарищей детства. Пролазив по той роце пару часов, мы сели в машину. И я почувал, как что-то передвигается у меня в волосах. Я запустил руки в волосы. Много усилий стоило, чтобы поймать нечто твёрдое и напомнившее сначала крупного муравья. Но всё же я выудил какое-то насекомое. Потом я узнал, что это была лосиная вошь. Она же оленья кровососка. Эта муха гроза парнокопытных, обитающая на сырых лосиных тропях. Друг на меня смотрел, когда я копался в волосах. Пальцы как грабли обрабатывали волосы, прочёсывали как лесные уголья. Пальцы как комбайны. И всё же я смог её изловить. Мы выехали на полевую дорогу и помчались в сторону села. Нарост на терновой древесине напомнил мне амулет старого друга, погибшего в аварии.

Уже давно пришла осень. По пасмурному полю, по горбу высот гонит ветром «Уазик» в хмельную дымную даль отчего края. Доносится издали рокоток трактора. В чёрном огне, нагретые плугом глудки в стуже осени остыли. Грай грачиный над дождевым червём. Вязнет подошва в чернозёме. Жидкая чернозёмность. Печалится копна у дороги, черна и как шелом смята. Рука тракториста на рычагах, а за стеклом крик фазана печальный. Тучи как овцебыки несутся на яйла. Тоскливо реке, из лап древесных ранетки просит. Попреют яблоки на её берегах, охваченные коричневым тленом. А в овражке в роцице упало золотое яблоко на следы от копыт ко-суль. Кабанье логово в камыше туча крышей кроет своей. Заунывно вебрь благовонную роцу обхрюкал. Гусли печальные осени всюду под её рукой, всюду она по ним дланью пройдёт. И отрясает листву, и летят косяки ути-ные, и ситник тут как тут. Чернотроп сырой, чахлый, прибирает листву

вперемешку с криком гусей. Пугливый олень в сонный пруд глядит, и кричит сойка. Лосиная мгла за бугром, корягоной под ногами. Перепревшие листья и сучья. Купена душистая на берегу речном тростниковую свирель свила заунывную.

Жимолость татарская в глину рва смотрит уныло. А в глине варвохронология и родная Повесть временных лет. И колет от родных пейзажей в груди. Бехом – говорят половецкие головы из-под глины. Чёрный гавран парит над синей ржавчиной земли и до моста мотает его, как катушку ветер. В бухту морского Гавра всё не попадёт, сносит ветром. И край родной дорожке.

Жёлтой репой луна смотрит на суглинок с золотоордынским черепом и генуэзской ржой от меча. Нагайка еголдаева в свекольных кормах искрошилась среди земляной зерни. Аттилы мизинец с перстнем прееет в соевице. Жёлтым квасом лунный свет полил поля, полные русских побед. Широколицая и заржавленная в ножнах луна помнит миллионы русских побед. От синей Онеги и до Прохоровки.



Марина Георгиевна Волкова – родилась 7 июля 1981 г. Поэт, автор и ведущая литературного проекта «Виват, Петербург!» Стихи неоднократно публиковались в коллективных сборниках и периодических изданиях («Наши Современники», «Север», «Новгород литературный», «Голос эпохи», «Мгинские мосты» и др.) Лауреат фестиваля «Словенское поле», премии им. Ю.П. Кузнецова от журнала «Наши Современники» (2014), конкурса «Северная звезда» от журнала «Север» (2011), лауреат литературной премии «В поисках правды и справедливости» (2020), обладатель диплома «Золотой Витязь» за книгу стихотворений «Наследники» (2022). Автор нескольких поэтических сборников.

Живёт в Санкт-Петербурге.



Мы Русского Воинства ждём воскресения...

Лебедия

Засверкали ветви в инее узорном,
Ходит по лесу Зима, белым-бела.
Лебедь нежная на зеркале озёрном
Спит, сложив свои прекрасные крыла.

А над ней, зовя и плача, кружат птицы:
«Лес дремучий хладным снегом замело,
Просыпайся, наша милая сестрица,
Полетим в края, где сытно и тепло!»

Но не слышит лебедь птичьего привета
И зимует под метелями одна,
Будто нежностью неведомой согрета,
Или слову изреченному верна.

Так и Русь – среди унылой, зимней стужи
Ждёт весны под тусклым светом звезд-ламп, пад,
А над ней метель неистовая кружит,
Норовит засыпать буйный снегопад.

Но она стоит, под вьюгами не гнётся,
Не страшат её сраженья и бои –
Пробудится под весенним ярким Солнцем
И расправит крылья белые свои!

Наш курс – на Рассвет!

Лебединая даль, соколиная высь,
 Меж седых облаков Солнца огненный взор,
 Небосвод, под которым мы все родились,
 И Земля, что от смерти хранит до сих пор, –
 Вот и всё. В этом суть. Это семя добра,
 Что посеяно в душах руками отцов.
 Белокрылая Русь, просыпайся, пора!
 Поднимай на крыло повзрослевших птенцов,
 И по весям – по гнёздам всю белую рать
 Собирай на единый всесветный совет;
 Мы живём ради жизни, Великая Мать,
 Мы летим за тобою, наш курс – на Рассвет!

Слово

Наши души нельзя умертвить ни металлом, ни током,
 Не распять на кресте, не купить посулённою мздой.
 Между Западом грубым и алчным, зломудрым Востоком
 Русский Север сияет под светлой Полярной звездой.

И покуда над Русью рождаются новые зори,
 Божье Слово в стихах произносится громко и вслух;
 Ни горящий Кавказ, ни китайское жёлтое море
 Не сумеют сломить этот вольный, светящийся дух!

Каждый слышащий рано иль поздно срывает оковы,
 Голос крови услышав, что в венах кипит, горяча;
 И кидается в бой, повторяя заветное Слово,
 Что разит всех врагов лучше пули и пуще меча!

И даже малости довольно

За далью – даль. И только ветер
 Усталый бродит меж полей.
 Тебя прекрасней нет на свете.
 Тебя на свете нет грустней.

Земля моя, в осенней неге
 Смотря несбыточные сны,
 Ты каждый год грустишь о снеге,
 А как пойдёт, то ждёшь весны.

Не птиц, а вьюг здесь слышно пенье,
 И кровь на травах как роса.
 Но мы – иного измеренья,
 Не под ноги, а в небеса

Глядим, и грезим правдой вечной,
 Поняв душою лишь одно:
 Что Богово и человечье
 В тебе навеки сплетено.

Пусть очень часто слишком больно,
 И горько так, хоть волком вой.
 Но даже малости довольно –
 Вдохнуть морозный воздух твой.

Суровый край

Суровый край, отцов наследство,
 Отчизна милая моя,
 Я твой навек! Недаром с детства
 Иные чужды мне края.

Пускай у нас зима полгода,
 И ночи хмуры и длинны,
 Но мы, как русская природа,
 Такой же стойкостью сильны.

Задор и пущую румянность
 Нам дарит батюшка мороз,
 В нас та же нежная упрямость
 Как в гибкой стройности берёз.

Зима длинна, но сколько света
 В сиянье северных ночей!
 В краю неласкового лета
 Поют и любят горячей!

Блестит звезда в листве зелёной,
 И ветер дремлет в камыше...
 Да разве может быть студёно
 В краю, где так тепло душе?!

Мы будем жить

Бывает, груз тоски и боли
 Не унести.
 Но коль душе довольно воли,
 Легко в пути!

И судеб наших веретёнцу
 Кружить, кружить...
 Пока с утра восходит Солнце,
 Мы будем жить!

Нам не страшна лжецов отрава
И лести плеть.
Пока весной восходят травы,
Мы будем петь!

Да, может всякое случиться,
Порвётся нить...
Пока летят на Север птицы
Мы будем жить!

Уходит зима заметёнными тропами,
Слезами ручьёв омывая поля.
Истают сугробы, и снова окопами
Минувших сражений посмотрит земля

На новое солнце, на небо весеннее,
И в чреве её встрепенётся зерно...
Мы Русского Воинства ждём воскресения,
И хочется верить, что будет оно.

